

# Дочь священника Да здоровствует фикус!

—

Джордж Оруэлл



Я Р К И Е С Т Р А Н И Ц Ы

Яркие страницы

Джордж Оруэлл

**Дочь священника. Да  
здравствует фикус!**

«ЭКСМО»

1935, 1936

УДК 821.111-31  
ББК 84(4Вел)-44

## **Оруэлл Д.**

Дочь священника. Да здравствует фикус! / Д. Оруэлл — «Эксмо»,  
1935,1936 — (Яркие страницы)

ISBN 978-5-04-178965-7

Многие привыкли воспринимать Оруэлла только в ключе жанра антиутопии, но романы «Дочь священника» и «Да здравствует фикус!» познакомит вас с другим Оруэллом, мастером психологического реализма. Оба романа социально-критические, об одиночках, не вписывающихся в общество. «Дочь священника». Англия, эпоха Великой депрессии. Дороти — дочь преподобного Чарльза Хэйра, настоятеля церкви Святого Ательстана в Саффолке. Она умелая хозяйка, совершает добрые дела, старается культивировать в себе только хорошие мысли, а когда возникают плохие, она укалывает себе руку булавкой. Даже когда она усердно шьет костюмы для школьного спектакля, ее преследуют мысли о бедности, которая ее окружает, и о долгах, которые она не может позволить себе оплатить. И вдруг она оказывается в Лондоне. На ней шелковые чулки, в кармане деньги, и она не может вспомнить свое имя... Это роман о девушке, которая потеряла память из-за несчастного случая, она заново осмысливает для себя вопросы веры и идентичности в мире безработицы и голода. Гордон Комсток — главный герой романа «Да здравствует фикус!», бросил хорошую работу, перешел в книжный магазин, где получает половину денег от своей прежней зарплаты. Ведь он ненавидит общество потребления, материальные ценности и пошлость обыденного уклада жизни, которые символизирует фикус на окне. В своей реакции на чудовищную систему он сам превращается в своего рода чудовище. Комсток проходит путь к пониманию, что спасение можно найти не в побеге от жизни, а в столкновении с ней. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-04-178965-7

© Оруэлл Д., 1935,1936

© Эксмо, 1935,1936

## Содержание

Дочь священника	7
Часть первая	7
Часть вторая	48
Конец ознакомительного фрагмента.	67

# **Джордж Оруэлл**

## **Дочь священника. Да здравствует фикус!**

George Orwell

A Clergyman's Daughter. Keep the Aspidistra Flying

© Домитеева В., перевод на русский язык, 2023

© Шепелев Д. Л., перевод на русский язык, 2023

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

\* \* \*

# Дочь священника

## Часть первая

### 1

Будильник на комодѣ разорвал предрассветную тишину, выдернув Дороти из глубин путаного, тревожного сна, и она легла на спину, чувствуя себя совершенно разбитой, и вперилась в темноту.

Будильник упрямо надрывался, словно заходясь в истерике, и мог продолжать так минут пять, если его не выключить. Вместе с ломотой во всем теле на Дороти навалилась коварная, презренная жалость к себе, нередко одолевавшая ее по утрам, и она натянула на голову одеяло, укрываясь от ненавистного трезвона. Но вскоре преодолела слабость и, по привычке, сурово отчитала себя, во втором лице.

«Ну-ка, Дороти, подъем! Нечего разлеживаться! *Притчи: vi, 9<sup>1</sup>*».

Затем спохватилась, что трезвон разбудит отца, и, вскочив на ноги, схватила с комода будильник и выключила. Она намеренно ставила его на комод, тем самым вынуждая себя встать с кровати. Не зажигая огня, она опустилась на колени и прочла «Отче наш», но без должного чувства, не в силах отвлечься от мерзнувших ног.

Было всего полшестого, и для августа холодновато. Дороти (Дороти Хэйр, единственный отпрыск его преподобия Чарлза Хэйра, ректора<sup>2</sup> прихода Св. Этельстана, что в Найп-Хилле, в Суффолке) надела выдавший виды байковый халат и пошла ощупью на первый этаж. В зябком коридоре пахло пылью, влажной штукатуркой и жареными окунями со вчерашнего ужина, а из комнат по обе стороны доносился храп на два тона – ректора и Эллен, домработницы. Дороти прошла по стенке на кухню, помня о столе, который подлым образом растягивался в темноте и бил ее в бедро, зажгла свечку на каминной полке и, преодолевая ломоту, присела и выгребла золу из очага.

Растопка кухонного очага была «адовой» задачей. Изогнутый дымоход давно забился сажей, и огонь приходилось взбадривать чашкой керосина, словно пьяницу – утренней порцией джина. Поставив греться воду для отцовского бритья, Дороти вернулась наверх и стала набирать себе ванну. Из комнаты Эллен все так же раздавался могучий храп. Девкой она была работающей, но из той породы, какую ни один черт со всеми своими ангелами не поднимет раньше семи.

Дороти набирала ванну тонкой струйкой – открыть кран побольше она не смела, чтобы не разбудить отца, – и смотрела на блеклую, неприветливую воду. Все тело ее покрылось гусиной кожей. Она терпеть не могла холодные ванны и поэтому взяла себе за правило принимать их с апреля по ноябрь. Попробовав воду рукой – ужас, какую холодную, – она стала привычно наставлять себя:

«Ну же, Дороти! Вперед! Пожалуйста, не трусь!»

Она решительно шагнула в ванну, села и всем телом погрузилась в ледяную воду, до самых волос, завязанных в узел на затылке. Через секунду она встала, дрожа и хватая ртом

---

<sup>1</sup> «Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна твоего?» Книга Притчей Соломоновых, синодальный перевод. (Здесь и далее прим. пер.)

<sup>2</sup> Чин ректора в англиканстве, весьма солидный в прошлом, утратил свой статус к началу двадцатого века и вскоре был упразднен.



воздух, и сразу вспомнила, что положила «памятку» в карман халата, намереваясь прочитать. Она достала памятку и, перегнувшись через край ванны, по пояс в ледяной воде, стала читать в свете стоявшей на стуле свечи.

Памятка гласила:

*7 ч. С. П.*

*Мсс. Т дите? Надо зайти.*

*ЗАВТРАК. Бекон.*

*НАДО спрос. отца деньги (Е)*

*Спрос. Эллен состав тоника отца.*

*NB. Спрос. Соулпайна о мат. для занавесок.*

*Звонить мсс. П выр. из Дэйли-м чай из ангелики от ревматизма мозоль пластырь мсс. Л.*

*12 ч. Репет. Карла F. NB. Заказать  $1/2$  ф клея, 1 банку алум. краски.*

*ОБЕД (зачеркнуто) ЛАНЧ...?*

*Разнести Церк. жур. NB. Долг за мсс.  $\Phi^3/6$  п.*

*4.30 веч. чай в С. мат. не забыть занавески 2  $1/2$  ярда.*

*Цветы для церкви NB. 1 банка Чистоля.*

*УЖИН. Яичница.*

*Печат. проп. отца что с новой лентой для пиш. маш.*

*NB. полоть горох выюнок ужас.*

Дороти вылезла из ванны и, пока обтиралась полотенцем размером с носовой платок (у ректора никогда не водилось приличных полотенец), волосы откололись и упали ей на ключицы парой тяжелых прядей. Пожалуй, к лучшему, что отец запрещал ей стричься, ведь волосы – густые, мягкие и необычайно светлые – составляли всю ее красоту. Ничем другим Дороти не выделялась: роста среднего, довольно худощавая, хотя крепкая и стройная, но лицом не вышла. Лицо ее – узкое и бледное, с блеклыми глазами и длинноватым носом – было вполне заурядным; возле глаз уже наметились «гусиные лапки», а линия губ в обычном положении выдавала усталость. Не сказать, чтобы типичная старая дева, но такая участь была для нее вполне ожидаема. Тем не менее люди, мало знавшие Дороти, обычно давали ей меньше лет, чем в действительности (ей шел двадцать восьмой год), – такое детское усердие читалось у нее во взгляде. Имелись также особые приметы в виде красных точек на левом предплечье, наподобие укусов насекомых.

Надев халат, она стала чистить зубы – разумеется, без пасты; только не накануне С. П. Тут не могло быть двух мнений: ты либо постишься, либо нет. В этом она соглашалась с римокатоликами. Однако стройная цепочка мыслей прервалась, и Дороти, пошатнувшись, отложила зубную щетку. Внутренности ей скрутил внезапный, отнюдь не воображаемый спазм.

Она вспомнила (с тягостным чувством осужденного человека, забывшего за ночь свой приговор) счет от мясника, Каргилла, ожидавший уплаты уже семь месяцев. Этот ужасный счет – там могло быть фунтов девятнадцать, если не все двадцать, уплатить которые не представлялось возможным, – был едва ли не главным мучением ее жизни. В любой час ночи или дня он словно караулил ее за углом, готовый наброситься на нее и терзать; а вслед за этим счетом в памяти всплыли и счета помельче, складываясь в общую сумму, о которой Дороти не смела и думать. Невольно она взмолилась:

«Господи, прошу, пусть Каргилл не присылает счет сегодня!»

---

<sup>3</sup> Карл I (англ. Charles I of England; 1600–1649) – король Англии, Шотландии и Ирландии; его политика абсолютизма и церковные реформы вызвали гражданскую войну (буржуазную революцию) в Англии и восстания в Шотландии и Ирландии.



Но тут же подумала, что молиться о таком – суета и кошунство, и попросила у Бога прощения. Надеясь забыться работой, она надела халат и поспешила на кухню.

Огонь, как обычно, потух. Дороти снова растопила очаг, пачкая руки золой, плеснула керосину и с тревогой ждала, пока чайник закипит. Отец предпочитал, чтобы воду для бритья ему подавали к четверти седьмого. Дороти поднялась наверх с кружкой воды, подумав, что опаздывает всего на семь минут, и постучалась к отцу.

– Входи, входи! – произнес приглушенный, ворчливый голос.

В комнате, плотно занавешенной, стоял спертый мужской дух. Ректор зажег свечку на прикроватной тумбочке и лежал на боку, глядя на свои золотые часы, только что извлеченные из-под подушки. Волосы у него были белыми и пушистыми, точно пух одуванчика. Заметив дочь, он недовольно покосился на нее через плечо.

– Доброе утро, отец.

– Я бы хотел, Дороти, – прошамкал ректор (без вставной челюсти разобрать его речь было непросто), – чтобы ты трудилась поднимать Эллен по утрам. Или сама была чуть более пунктуальна.

– Я так сожалею, отец. Огонь на кухне все время гас.

– Ну хорошо! Поставь кружку на столик. Поставь и раздвинь шторы.

Уже совсем рассвело, но было пасмурно. Дороти поспешно вернулась к себе в комнату и оделась с молниеносной скоростью, как делала шесть дней в неделю. Комнатное зеркало было совсем маленьким, но Дороти почти не пользовалась им. Она надевала на шею золотой крестик – простой крестик, без всяких католических распятий! – завязывала волосы узлом, небрежно воткнув в них несколько заколок, и натягивала одежду (серую кофту, потрепанный твидовый костюм, чулки, слегка не в тон к костюму, и поношенные коричневые туфли) за пару минут. Ей еще предстояло «навести красоту» в столовой и в отцовском кабинете перед тем, как идти в церковь, а кроме того, прочесть молитвы в преддверии Святого Причастия, что занимало не меньше двадцати минут.

Когда она выкатывала из калитки велосипед, утро еще не располагилось и трава сверкала росой. Сквозь туман, окутывавший холм, смутно вырисовывалась церковь Св. Этельстана, словно таинственный истукан, а ее единственный колокол мрачно тянул: бу-ум! бу-ум! бу-ум! Вот уже три года, как звонил только один колокол, а семь других были сняты и медленно продавливали пол колокольни. Издалека, ниже по склону, доносился настырный звон из римокатолической церкви, также скрытой туманом; ректор Св. Этельстана сравнивал этот скверный, дешевый, жестяной звон с буфетным колокольчиком.

Дороти села на велосипед и стремительно поехала на холм, налегая на руль. Тонкий нос у нее порозовел от холода. Над головой просвистел невидимый в сером небе травник.

«Ранней зарей вознесу я хвалу Тебе!»

Прислонив велосипед к кладбищенской калитке, Дороти заметила, что руки у нее серые от золы, и, присев, дочиста оттерла их о высокую влажную траву, росшую между надгробий. Колокол смолк, и она стремглав бросилась в церковь, заметив, как по проходу шагает в обтрепанной рясе и здоровых башмаках звонарь, Прогетт, пробираясь к своему месту в боковом приделе.

Церковь, большая и обветшавшая – непомерно большая для столь скромной общины, – казалась почти пустой. Внутри была холодрыга, пахнувшая свечами и вековой пылью. Три узких скамьи, стоявшие поодаль друг от друга, едва занимали половину нефа, а дальше простирался голый каменный пол, на котором виднелось несколько истертых табличек, отмечавших древние могилы. Крыша над алтарной частью заметно просела; рядом с ящиком для пожертвований лежали два куса источенной балки, наглядно обличая заклётого врага христианского мира, жука-могильщика. Сквозь подслеповатые окошки сочился тусклый свет, а за южной две-

рю, настезь открытой, топорщился кипарис и чуть покачивались ветви липы, серые в пасмурную погоду.

Как и следовало ожидать, явилась единственная прихожанка – старая мисс Мэйфилл, из усадьбы Грандж. Паства по будням отлынивала от Святого Причастия, и ректор даже не мог набрать себе служек, кроме как по воскресеньям, когда мальчишкам нравилось щеголять в сутанах и стихарях перед прихожанами. Дороти заняла место на скамье позади мисс Мэйфилл и, в покаяние за один вчерашний грех, отодвинула подушечку и встала коленями на каменный пол. Служба началась. Ректор, в сутане и коротком полотняном стихаре, читал молитвы скороговоркой, довольно разборчиво, благодаря вставной челюсти, однако весьма сурово. На его брезгливом, стариковском лице, бледном, точно истертое серебро, читалось выражение отчужденности, едва ли не пренебрежения.

«Это подлинное таинство, – казалось, говорил он, – и мой долг совершить его перед вами. Но помните, что я вам не друг, а только священник. По-человечески я к вам симпатий не питаю и знать вас не желаю».

Неподалеку стоял звонарь Прогетт, средних лет, с напряженным красным лицом и курчавыми седыми волосами; он внимал ректору бездумно и ревностно, вертя в красных ручищах алтарный колокольчик.

Дороти прижала пальцы к глазам. У нее никак не получалось сосредоточиться – из головы не шла мысль о счете Каргилла. Молитвы, известные ей наизусть, влетали в одно ухо и вылетали из другого. Она подняла глаза, и взгляд ее стал блуждать по всей церкви. Сперва наверх, к обезглавленным ангелам под крышей, принявшим на себя гнев ревностных пуритан, затем обратно, к затылку мисс Мэйфилл, под шляпой «пирожком», и болтавшимся агатовым серьгам. На старухе было длинное черное пальто, с засаленным каракулевым воротничком, ни разу не менявшимся на памяти Дороти. Материал, весьма причудливый, напоминал муаровый шелк, только более грубый, с хаотичными извивами черного канта по всей площади. Возможно, это был легендарный, вошедший в поговорку, черный бомбазин. Мисс Мэйфилл была очень стара – настолько, что иначе как старухой никто ее не помнил. От нее исходил слабый букет запахов: одеколона, нафталина и отдушки джина.

Дороти вынула из лацкана пальто длинную портновскую булавку и, прячась за спиной мисс Мэйфилл, всадила себе в предплечье. Ее плоть постыдно сжалась. Всякий раз, как она ловила себя на том, что молится рассеяннo, она до крови колола себе руку. Так она добровольно приучала себя к дисциплине, спасаясь от непочтительности и кощунственных мыслей.

С булавкой наготове Дороти смогла молиться более осознанно, правда, недолго. Отец неодобрительно скосил темный глаз на мисс Мэйфилл, периодически крестившуюся, чего он не одобрял. За стенами церкви чирикнул скворец. Дороти оторопело отметила, что тщеславно любитесь отцовским стихарем, который сама ему сшила два года назад. Стиснув зубы, она вогнула булавку в руку глубже прежнего.

Снова встали на колени. Читалась общая исповедь. Дороти вновь отвлеклась – теперь на витражное окно справа, изображавшее (по эскизу сэра Уорда Тука, члена Королевской академии, созданному в 1851 году) святого Этельстана, приветствуемого у райских врат Гавриилом с ангельским воинством, и каждый ангел был вылитый принц-консорт<sup>4</sup>, – и снова всадила булавку. Внимание было восстановлено, и фразы молитвы стали восприниматься куда более осознанно. Однако на словах «Посему мы с ангелами и архангелами...», когда Прогетт звякнул колокольчиком, Дороти снова пришлось прибегнуть к булавке, поскольку ее, как всегда в этом месте, стал разбирать смех. Ей вспоминалась история, рассказанная когда-то отцом, о том, как он был служкой и язычок алтарного колокольчика отвинтился, а священник, заслышав неладное, обратился к нему в самый разгар славословия: «Посему мы с ангелами и арханге-

---

<sup>4</sup> Имеется в виду муж королевы Виктории (1819–1901), принц Альберт (1819–1861).

лами, и со всеми силами небесными, славословим светлое имя Твое; многожды Тебя благодаря и говоря: “Прикрути язык, болван ты этакий, прикрути!”».

После освящения Святых Даров мисс Мэйфилл с превеликим трудом поднялась с колен, напоминая деревянную марионетку, запутавшуюся в своих суставах. Каждое движение сопровождалось усиленным запахом нафталина и жутким скрипом (вероятно, от корсета старухи), звучащим точно хруст костей, так что воображение рисовало под черным пальто высохший скелет.

Дороти не сразу встала. Мисс Мэйфилл ковыляла к алтарю, с трудом переставляя ноги. Она еле ползала, но гневно отвергала любую помощь. На ее древнем, бескровном лице выделялся большой, вечно приоткрытый рот. Нижняя губа, отвисшая с возрастом, открывала влажную десну и ряд вставных зубов, пожелтевших, точно клавиши старого пианино. На верхней губе, в бисеринках пота, темнели усики. Другими словами, ее уста не внушали симпатии; никому бы не понравилось пить с ней из одной посуды. И вдруг с губ Дороти сами собой, точно внушенные Нечистым, слетели слова:

– Господи, не дай мне пить из чаши после мисс Мэйфилл!

В следующий миг, ужаснувшись этой святотатственной слабости на ступенях алтаря, она пожалела, что не откусила себе язык. Она снова взяла булавку и так отчаянно вонзила в руку, что едва не вскрикнула от боли. Затем она подошла к алтарю и покорно опустилась на колени, слева от мисс Мэйфилл, оставив за ней право пригубить чашу первой.

Стоя на коленях, понурив голову и сложив ладони, Дороти собралась по-быстрому прочитать покаянную молитву, пока отец не подошел к ней с облаткой. Но мысли ее пребывали в таком смятении, что эта задача оказалась ей не под силу; губы ее шевелились, но ни сердцем, ни умом она не участвовала в молитве. Она слышала шарканье башмаков Проггетта и четкие тихие слова отца: «Возьми и вкуси», видела истертую материю красной ковровой дорожки, на которой стояла коленями, вдыхала пыль и запах одеколона с нафталином, но была не в силах устремиться мыслями на Плоть и Кровь Христову, ради которых и пришла сюда. Разум ей застлала мертвящая пелена. У нее возникло ощущение, что она просто *не может* молиться. Она отчаянно попыталась собраться с мыслями, механически бормоча слова молитвы, но в них не было толка, не было смысла – одна лишь словесная шелуха. Отец держал перед ней облатку в своей изящной, сухопарой руке, двумя пальцами, брезгливо, словно ложку с лекарством. Взгляд его был направлен на мисс Мэйфилл, со скрипом согнувшейся вдвое, точно гусеница пяденицы, и так рьяно крестившейся, что казалось, будто она малюет узоры на своем пальто. Несколько секунд Дороти не могла заставить себя взять облатку. Просто не смела. Уж лучше, куда как лучше совсем остаться без причастия, чем принять его с таким сумбуром в мыслях!

Но тут краем взгляда она заметила открытую южную дверь. Облака разошлись, луч света залил кроны лип и расцветил ветку, нависавшую над дверью, неопикуемой зеленью, зеленее любых нефритов, изумрудов и вод Атлантики. Дороти словно узрела чудесную драгоценность, озарившую на миг дверной проем зеленым сиянием, и сердце ее захлестнула радость. Вспышка живого цвета непостижимым образом наделила ее присутствием духа, благоговением и любовью к Богу. Зеленая листва вернула ей умение молиться.

«О, вся жизнь зеленая земная, пой хвалу Создателю!»

Дороти стала молиться – ревностно, радостно, самозабвенно. Облатка таяла у нее на языке. Приняв серебряную чашу из рук отца, на кромке которой виднелся влажный след губ мисс Мэйфилл, она отпила из нее без малейшей брезгливости, приветствуя такое самоуничтожение.

## 2

Церковь Св. Этельстана стояла на самой вершине Найп-Хилла, и с колокольни – пожелай кто-нибудь на нее подняться – открывался вид миль на десять вокруг. Впрочем, вид ничем не примечательный: типичный для Восточной Англии низинный ландшафт с пологими холмиками, невыносимо скучный летом, но в зимнее время радующий глаз ажурными силуэтами голых вязов на фоне свинцового небосклона.

У подножия холма лежал городок, разделенный Главной улицей, тянувшейся с востока на запад, на две неравные части. Южная сторона – старинная и фермерская – считалась респектабельной. На северной же стороне располагались корпуса свеклосахарного завода Блайфил-Гордона, к которым лепилась, расходясь во все стороны, паутина зачуханных домишек из желтого кирпича, населенных в основном заводскими. Заводские, составлявшие большую часть жителей двухтысячного городка, были приезжими горожанами и почти сплошь безбожниками.

Вся светская жизнь городка вращалась вокруг двух центров, или очагов культуры: «Консервативного клуба Найп-Хилла» (с лицензией на торговлю спиртным), в эркере которого, едва открывался бар, красовались дородные, румяные лица городской элиты, напоминавшие упитанных золотых рыбок в аквариуме, и «Старой чайной лавочки», чуть дальше по Главной улице, где собирались благородные дамы Найп-Хилла. Не показаться в «Старой чайной лавочке» между десятью и одиннадцатью хотя бы раз в неделю, чтобы выпить свой «утренний кофе» и провести не меньше получаса, мило щебеча с прононсом верхушки среднего класса («Ах, душечка, у него была *девятка* пик на козырную даму, а он, представь себе, пошел некозырной. Как, душечка, неужто ты *опять* платишь за мой кофе? Ах, душечка моя, ты просто *чересчур* мила! Но завтра я *неукоснительно* заплачу за твой. Ты только *взгляни* на Тотошу: как сидит, как смотрит *глазками* своими, а носик черный так и ходит, и не зря (не зря же?), мордочка моя, не зря, не зря – мамочка даст ему сахарок – как не дать такому... *На, Тотоша!*»), означало признать свою непринадлежность к избранному обществу. Ректор, в своей желчной манере, окрестил этих дам «кофейной бригадой». Все они проживали в живописных, точно торты, виллах, разбросанных по соседству с усадьбой Грандж, домом мисс Мэйфилл, стоявшим от них, благодаря фамильным землям, на почтительном расстоянии. Усадьба Грандж представляла собой вычурное псевдоготическое сооружение – плод чьей-то фантазии в духе 1870-х – с зубчатыми стенами из темно-красного кирпича, по счастью, основательно укрытыми пышной растительностью.

Дом ректора стоял на середине холма, фасадом к церкви и тылом – к Главной улице. Чрезмерно обширный, с вечно осыпавшейся желтой штукатуркой, он был реликтом иного века. Когда-то ректор пристроил с одного бока просторную теплицу, служившую Дороти мастерской, но то и дело требовавшую ремонта. Палисадник задушили разлапистые ели и огромный раскидистый ясень, затенявший передние комнаты, так что о цветах нечего было и думать. Зато за домом располагался внушительный огород. Весной и осенью его хорошенько вскапывал Проггетт, а Дороти сеяла, удобряла и полола, когда выдавалось свободное время; но, несмотря на все эти усилия, огород постоянно зарастал непролазными сорняками.

Дороти прыгнула с велосипеда у ворот, на которые какой-то умник повесил плакат с призывом: «Голосуйте за Блайфила-Гордона и достойные зарплаты!» (Проходили дополнительные выборы, и мистер Блайфил-Гордон представлял консервативную партию.) Войдя в дом, Дороти увидела два письма на истертом плетеном половике. Одно было от окружного декана, а другое – в скверном, тонком конвертике – от «Кэткина и Палма», портных, обшивавших отца. Несомненно, прислали счет. Ректор имел привычку забирать письма, вызывавшие у него интерес, а прочие оставлять дочери. Нагнувшись за ними, Дороти вдруг увидела – и внутренне передернулась – застрявший в почтовом клапане конверт без марки.

Это был счет, вне всяких сомнений! Более того, едва увидев его, она «поняла», что это кошмарный счет от Каргилла, мясника. Все у нее оборвалось. Она даже начала молиться, чтобы это оказался чей-то еще счет – хотя бы от Соулпайпа, галантерейщика, на три фунта девять шиллингов, или из универмага «Международный», или от бакалейщика, или молочника – от кого-угодно, лишь бы не от Каргилла! Затем, преодолев панику, она вынула конверт из-под клапана и судорожно надорвала.

«Счет на оплату: 21 ф. 7 ш. 9 п.».

Это было написано аккуратным почерком бухгалтера мистера Каргилла. А ниже было добавлено жирным, грозным почерком и подчеркнуто:

«Жел. донести до вашего сведения, что этот счет ожидает уплаты *очень долгое время*. Буду признателен за *скорейшую уплату*, С. Каргилл».

Дороти побледнела сильнее обычного и поняла, что совсем не хочет завтракать. Она засунула счет в карман и прошла в столовую, небольшую, темную комнату, давно нуждавшуюся в ремонте. Как и все прочие комнаты в доме, она имела такой вид, словно ее обставили рухлядью из задних рядов антикварного магазина. Мебель была «добротной», но в весьма плачевном состоянии, а стулья – до того изъедены червями, что садиться на них без риска для здоровья можно было, только зная их особую геометрию. На стенах висели старые, темные, истертые гравюры на стали, в их числе портрет Карла Первого с картины Ван Дейка – вероятно, он мог стоить каких-то денег, не будь испорчен влагой.

Ректор стоял у пустой каминной решетки, греясь у воображаемого огня, и читал письмо из продолговатого голубого конверта. Он все еще был в рясе из муарового шелка, прекрасно контрастировавшей с его густыми белыми волосами и бледным, изящным, чуть надменным лицом. При виде Дороти он отложил письмо, извлек золотые часы и со значением взглянул на них.

– Боюсь, я слегка припоздала, отец.

– Да, Дороти, ты *слегка припоздала*, – сказал ректор, повторив ее слова с легким, но отчетливым нажимом. – На двенадцать минут, если быть точным. Не думаешь, Дороти, что мне приходится вставать в четверть седьмого, чтобы принять Святое Причастие, и я прихожу домой до крайности уставшим и голодным, поэтому было бы лучше, если бы ты умудрялась не *припаздывать* к завтраку?

Ректор, очевидно, был не в духе, или, как Дороти называла это про себя, в «неудобном настроении». Его голос, претенциозный и словно вечно чем-то недовольный, нельзя было назвать ни злым, ни добрым – этот голос словно бы говорил: «Я, *право же*, не понимаю, что за мышиную возню вы развели!»

Казалось, он непрестанно страдал от назойливой глупости окружающих.

– Мне так жаль, отец! Просто нужно было зайти проведать миссис Тауни (ту самую «мсс. Т» из «памятки»). Она родила прошлым вечером и, знаешь, обещала, что придет в церковь после родов. Но она, конечно, не сделает этого, если решит, что мы не принимаем в ней участия. Ты же знаешь, какие эти женщины – они как будто ненавидят церковные обряды. Нипочем не придут, если я не стану их умасливать.

Ректор не то чтобы простонал, но издал едва различимый взглас недовольства и приблизился к столу. Это должно было означать, во-первых, что миссис Тауни обязана прийти в церковь без того, чтобы Дороти ее умасливала, и во-вторых, что Дороти не следовало тратить время, навещая всякое отребье, особенно перед завтраком. Миссис Тауни была женой рабочего и жила в *partibus infidelium*<sup>5</sup>, к северу от Главной улицы. Ректор положил руку на спинку своего стула и молча послал Дороти взгляд, говоривший: «Мы *наконец* готовы? Или есть *еще* какие-то препоны?»

---

<sup>5</sup> В краю неверных (лат.).

– Думаю, все на столе, отец, – сказала Дороти. – Можно, пожалуй, вознести благодарность...

– *Benedictus benedicat*<sup>6</sup>, – сказал ректор.

Он поднял потертую серебряную крышку с блюда. Серебряная крышка, как и десертная ложечка из позолоченного серебра, была семейной реликвией; тогда как ножи и вилки вместе с большей частью посуды прибыли из «Вулворта»<sup>7</sup>.

– Снова, смотрю, бекон, – сказал ректор, глядя на три скромных ломтика, свернувшиеся на поджаренном хлебе.

– Боюсь, это все, что есть в доме, – сказала Дороти.

Ректор взял вилку двумя пальцами и осторожным движением, словно играя в бирюльки, перевернул один ломтик бекона.

– Мне, разумеется, известно, – сказал он, – что бекон на завтрак – это почти столь же древняя английская традиция, что и парламент. Но все же, Дороти, не думаешь ли ты, что мы могли бы изредка отступать от нее?

– Бекон сейчас такой дешевый, – сказала Дороти виновато. – Грех просто не купить. Этот стоил всего пять пенсов за фунт, а был и вполне приличный с виду за три.

– А, датский, полагаю? Каких только вторжений не претерпела эта страна от датчан! Сперва они лезли с огнем и мечом, теперь же – со своим кошмарным дешевым беконом. Хотел бы я знать, что повлекло за собой больше смертей?

Почувствовав себя чуть лучше после такой колкости, ректор уселся на стул и принялся с завидным аппетитом завтракать презренным беконом, пока Дороти (она этим утром не ела бекона в виде епитимьи за то, что вчера чертыхнулась и полчаса бездельничала после ланча) пыталась придумать, как бы начать разговор о деньгах.

Ей предстояла несказанно гнусная задача – потребовать больше денег. Даже в лучшие времена получить от отца денег было на грани невозможного, а этим утром он, очевидно, был более «трудным» (еще один эвфемизм Дороти в отношении отца), чем обычно. Взглянув на голубой конверт, она мрачно подумала, что это письмо принесло плохие новости.

Пожалуй, никто из тех, кому случалось пообщаться с ректором дольше десяти минут, не стал бы отрицать, что он человек «трудный». Причина его почти всегдашней желчности крылась в том обстоятельстве, что он родился не в своем веке. Он был не создан для жизни в современном мире – самый дух современности вызывал у него отторжение и отвращение. Он бы прекрасно чувствовал себя двумя веками ранее – счастливым священником с многочисленной паствой, занимавшимся стихосложением или собиранием окаменелостей, пока доверенные кураты управляли бы его приходами за 40 фунтов в год. Впрочем, он мог бы позволить себе отгородиться от двадцатого века, будь он достаточно богат. Жить во вкусе умной старины – очень дорогое удовольствие; на это требовался годовой доход порядка двух тысяч фунтов. Поэтому ректор, прикованный бедностью к веку Ленина и «Дейли мейл»<sup>8</sup>, пребывал в неизменном раздражении, которое естественным образом изливал на ближайшее окружение, прежде всего на Дороти.

Он родился в 1871 году – младший сын младшего сына баронета – и избрал своим поприщем церковь, следуя старомодной традиции, определявшей младших сыновей в священнослужители. Его служение началось с обширного прихода в трущобах Восточного Лондона – своих первых прихожан, задиристых оборванцев, он вспоминал не иначе как с отвращением. Уже в те дни низшие классы (он всегда называл их так) всюду показывали норы. Положение его несколько улучшилось, когда его назначили викарием в сельскую местность на просторах

---

<sup>6</sup> *Лат.* Благословение благословенное. Явный намек на яйца Бенедикт, идеальное средство от похмелья.

<sup>7</sup> Универсальный магазин.

<sup>8</sup> Daily Mail, ежедневная английская газета, отвечающая вкусам широкой публики.

Кента (там родилась Дороти), где паства, простодушная и забитая, все еще прикладывала руку к шляпе перед «духовным лицом». Но к тому времени он успел жениться, и семейная жизнь оказалась для него сущим адом; более того, поскольку священнику не пристало «выносить сор из избы», ему приходилось держать все в себе, что усугубляло ситуацию. В Найп-Хилл он перебрался в 1908 году, в возрасте тридцати семи лет, с безнадежно испорченным характером, и довольно скоро настроил против себя всех прихожан и прихожанок, вместе с их детьми.

Нельзя было сказать, что он плохой *священник*. Свои чисто церковные обязанности он выполнял как нельзя лучше – пожалуй, даже слишком хорошо для прихода низкой церкви<sup>9</sup> в Восточной Англии. Службы он проводил с безупречным вкусом, читал прекрасные проповеди и по средам и пятницам вставал ни свет ни заря, чтобы провести Святое Причастие. Но он никогда всерьез не задумывался о том, что священник может иметь какие-то обязанности за пределами здания церкви. Не в силах позволить себе курата, он перекладывал всю грязную работу по приходу на жену, а после того, как она умерла, в 1921 году, на Дороти. Злопыхатели поговаривали, что он бы с радостью повесил на Дороти и свои проповеди, будь такое возможно. «Низшие классы» сразу почуяли его отношение к себе, и, будь он богатым человеком, они бы, по всей вероятности, лизали ему сапоги; а так они просто его ненавидели. Однако ему не было ни малейшего дела до этого, ведь он совершенно не думал об их существовании. Но и с «высшими классами» отношения его оставляли желать лучшего. Он перессорился по очереди со всей земельной аристократией; что же касалось мелкопоместного дворянства, его он, как внук баронета, откровенно презирал. В результате за двадцать три года паства церкви Св. Этельстана сократилась с шести сотен прихожан до менее чем двух.

Впрочем, дело было не только в личных качествах ректора. Старомодное высокое англиканство, за которое он упрямо цеплялся, в некотором смысле сидело в печенках у всех прихожан. Дух времени оставлял священнику, желавшему сохранить свою паству, лишь два пути. Либо чистый и ясный (точнее, чистый и неясный) англикатолицизм<sup>10</sup>, либо (для отчаянных модернистов, попиравших традиции) благодушные проповеди, утверждающие отсутствие ада и равенство всех хороших религий. Ректор не одобрял ни того ни другого. С одной стороны, он питал глубочайшее презрение к англикатолицизму. Это поветрие – он называл его «римской лихорадкой» – прошло мимо него, ничуть не затронув. С другой стороны, он был чересчур «высок» для своих старших прихожан. Время от времени он нагонял на них жути, произнося страшное слово «католики», не только в освященных традицией символах веры, но и в своих проповедях. Кроме того, паства год за годом редела естественным образом, и первыми уходили самые лучшие. Лорд Покторн из Покторн-корта, владевший пятой частью графства, мистер Ливис, отошедший от дел торговец кожей, сэр Эдвард Хьюсон из Крэбтри-холла, а также мелкое дворянство, разъезжавшее в автомобилях, – все они покинули приход Св. Этельстана. Большинство из них ездили по утрам в воскресенье за пять миль, в Миллборо, городок с пятидесяти тысячным населением и двумя церквями: Св. Эдмунда и Св. Ведекinda. Первая из них была модернистской (над алтарем красовался текст «Иерусалима» Уильяма Блейка, а причастное вино подавалось в бокалах), а вторая – англикатолической и вела нескончаемую подковерную войну с епископом. Однако председатель «Консервативного клуба Найп-Хилла», мистер Кэмерон, перешел в римокатоличество, и дети его с головой окунулись в литературное движение РК. Поговаривали, что они учили своего попугая католической максиме: «*Extra ecclesiam nulla salus*»<sup>11</sup>. В сущности, Св. Этельстан растерял всех своих прихожан, обладавших каким-никаким общественным положением, кроме мисс Мэйфилл из Гранджа. Большую часть своих денег

---

<sup>9</sup> Low church, направление в англиканской церкви, отрицательно относящееся к ритуальности.

<sup>10</sup> Наиболее консервативное направление в англиканской церкви.

<sup>11</sup> Лат. «Вне церкви нет спасения».



она отписала церкви – так она говорила; тем не менее в ящик для пожертвований никогда не клала больше шестипенсовика, и было похоже, что она собирается жить вечно.

Первые десять минут отец и дочь завтракали в полной тишине. Дороти никак не могла набраться храбрости заговорить (несомненно, следовало завести хоть *какой-нибудь* разговор, прежде чем поднимать вопрос денег), но ректор был не из тех людей, кого легко вовлечь в светскую беседу. Периодически он настолько уходил в себя, что просто не слышал, когда к нему обращались; зато иногда он бывал чересчур внимателен к словам собеседника и отмечал, с досадой в голосе, что не услышал ничего достойного внимания. Вежливые банальности – такие как разговоры о погоде, – обычно вызывали у него сарказм. И все же Дороти решила начать с погоды.

– Занятный день, не правда ли? – сказала она и сразу устыдилась пошлости этих слов.

– *Чем же* он занятный? – спросил ректор.

– Ну, я хочу сказать, утром был такой туман и холод, а теперь солнце выглянуло и все так расцвело.

– И что же в ЭТОМ такого занятого?

Явная промашка.

«Должно быть, получил плохие новости», – подумала Дороти и предприняла новый заход:

– Заглянул бы ты хоть разок, отец, в наш огород. Стручковая фасоль так вымахала! Стручки будут больше фута. Я, конечно, собираюсь сберечь все лучшие до праздника урожая. Подумала, будет так здорово, если мы украсим кафедру гирляндами фасоли и добавим к ним несколько помидоров.

Но и это был *faux pas*<sup>12</sup>. Ректор поднял взгляд от тарелки с нескрываемым раздражением.

– Дорогая моя Дороти, – сказал он едко, – РАЗВЕ обязательно донимать меня праздником урожая уже сейчас?

– Прости, отец! – сказала Дороти, растерявшись. – Я не хотела донимать тебя. Просто подумала...

– Ты полагаешь, – продолжал ректор, – мне доставит удовольствие читать проповедь в окружении гирлянд стручковой фасоли? Я ведь не зеленщик. От одной мысли об этом аппетит пропадает. На какую дату намечена эта нелепица?

– На шестнадцатое сентября, отец.

– Впереди еще почти месяц. Ради всего святого, не напоминай мне больше об этом! Полагаю, мы должны устраивать эту нелепицу раз в году, чтобы потешить тщеславие каждого несчастного огородника в приходе. Но давай не будем забивать себе этим голову сверх необходимого.

Ректор испытывал (о чем не следовало забывать Дороти) крайнюю неприязнь к празднику урожая. Каковая неприязнь даже стоила ему одного ценного прихожанина (мистера Тогиса, пожилого ворчливого огородника), не стерпевшего, когда ректор сказал, что церковь в таком виде напоминает базарный ряд. Мистер Тогис, *anima naturaliter Nonconformistica*<sup>13</sup>, держался в церкви единственно ради привилегии устраивать на праздник урожая в придельном алтаре подобие Стоунхенджа из огромных кабачков и тыкв. Прошлым летом он сумел вырастить совершенно исполинскую, жгуче-рыжую тыкву, до того огромную, что ее могли поднять лишь двое человек. Эту несусветную диковину внесли в алтарную часть, и она затмила не только алтарь, но и восточный витраж. В какой бы части церкви вы ни стояли, эта тыква, фигурально выражаясь, была вас не в бровь, а в глаз. Мистер Тогис пребывал в упоении. Он

---

<sup>12</sup> *Фр.* Ложный шаг.

<sup>13</sup> *Лат.* Душой по природе нонконформист. Отсылка к изречению Тертуллиана (ок. 160 – ок. 220) «*Anima naturaliter christiana*» («Душа по природе христианка»).

слонялся в церкви с утра до вечера, не в силах оторваться от своей обожаемой тыквы, и даже приводил с собой друзей, полюбоваться ей. Казалось, он вот-вот станет декламировать «Сонет, написанный на Вестминстерском мосту» Вордсворта:

Нет зрелища пленительней!  
И в ком не дрогнет дух  
бесчувственно-упрямый  
При виде величавой панорамы!<sup>14</sup>

У Дороти даже затеплилась надежда, что он придет на Святое Причастие. Но ректор при виде тыквы не на шутку рассердился и велел немедленно убрать из церкви «это кошмарное нечто». Мистер Тогис, недолго думая, переметнулся в стан неконформистов, и больше ни он, ни его отпрыски в церковь не заглядывали.

Дороти решила предпринять последнюю попытку завязать с отцом разговор.

– Мы мастерим костюмы для «Карла Первого», – сказала она, имея в виду пьесу, которую ставила церковная школа для сбора средств на орган. – Но я жалею, что мы не выбрали что-нибудь полегче. Делать доспехи – такая морока, а с ботфортами, боюсь, будет еще хуже. Думаю, в другой раз нужно будет ставить пьесу из римской или греческой истории. Чтобы ребята ходили в тогах.

Это вызвало у ректора лишь очередное ворчание. Пусть школьные пьесы, живые картины, базары, благотворительные распродажи и концерты были не так ужасны в его глазах, как праздники урожая, он все равно причислял их к «неизбежному злу» и не желал обсуждать.

Вдруг открылась дверь, и в столовую бесцеремонно вошла домработница, Эллен, придерживая передник мясистой, шелудивой рукой. Эллен была рослой девкой с покатыми плечами, пепельными волосами и жалостливым голосом и страдала от хронической экземы. Она бросила робкий взгляд на ректора, но заговорила с Дороти, боясь обращаться к ректору напрямую.

– Простите, мисс, – начала она.

– Да, Эллен?

– Простите, мисс, – повторила Эллен жалобно, – в кухне мистер Портер, говорит, не мог бы, пожалуйста, ректор прийти, покрестить младенца миссис Портер? Потому что они думают, он до завтра не дотянет, а его еще не крестили, мисс.

Дороти встала.

– Сиди, – тут же сказал ректор с набитым ртом.

– А что такое с младенцем? – сказала Дороти. – Как они думают?

– Ну, мисс, он весь почернел. И понос совсем замучил.

Ректор проглотил с усилием.

– Мне обязательно выслушивать эти мерзкие подробности за завтраком? – воскликнул он и обратился к Эллен: – Отошли Портера восвояси и скажи, я приду к нему в полдень. Право же, не пойму, почему это низшие классы вечно приходят домогаться тебя, когда ты за едой, – добавил он, бросив очередной раздраженный взгляд на Дороти, севшую на место.

Мистер Портер был рабочим – кирпичником, если точно. Ректор относился к крещению самым ответственным образом. В случае крайней необходимости он бы прошел двадцать миль по снегу, чтобы крестить умирающего младенца. Но ему не понравилось, что Дороти изъявила готовность уйти посреди завтрака ради какого-то кирпичника.

Они продолжали завтракать молча. Дороти все больше падала духом. Она должна была потребовать денег, но предчувствовала, что из этого ничего не выйдет. Закончив завтракать,

---

<sup>14</sup> Перевод В. Левика.

ректор встал из-за стола и, взяв табакерку с каминной полки, принялся набивать трубку. Дороти быстро помолилась и стала понукать себя.

«Ну же, Дороти! Смелее! Пожалуйста, не трусь!»

Собрав волю в кулак, она сказала:

– Отец...

– Что такое? – сказал ректор, застыв со спичкой в руке.

– Отец, я хочу попросить тебя о чем-то. О чем-то важном.

Ректор изменился в лице. Он тут же понял, в чем дело, и, как ни странно, отнесся к этому сравнительно спокойно. Он надел маску невозмутимости, всем своим видом давая понять, что мирские заботы его не волнуют.

– Вот что, дорогая моя Дороти, я прекрасно знаю, что ты имеешь в виду. Полагаю, ты снова хочешь попросить у меня денег. Верно?

– Да, отец. Потому что...

– Что ж, я избавлю тебя от объяснений. У меня совершенно нет денег – абсолютно нет никаких денег до следующего квартала. Ты получила свое жалованье, и я не могу добавить тебе ни полпенни. Совершенно бессмысленно донимать меня этим сейчас.

– Но, отец...

Дороти совсем смутилась. Ничто не угнетало ее так, как это безучастное спокойствие отца, когда она просила у него денег. Ректор ни к чему не относился с большим равнодушием, чем к напоминанию о том, что он по уши в долгах. Очевидно, ему было просто невдомек, что торговцам хочется, чтобы их услуги хотя бы иногда оплачивали, и что никакое хозяйство невозможно вести без должной суммы денег. Он выделял Дороти восемнадцать фунтов в месяц на все расходы, включая и жалованье Эллен, и в то же время был привередлив в еде, чуть что, отмечая малейшее ухудшение качества. В результате они, разумеется, не вылезали из долгов. Но ректор не придавал своим долгам ни малейшего значения – да он едва ли знал о них. Когда он сам терял деньги из-за неудачного вложения, он глубоко переживал; что же касалось торговцев, которым он был должен, – что ж, он просто не утруждал себя заботами о такой ерунде.

От трубки ректора поднялся безмятежный завиток дыма. Должно быть, он уже выбросил из головы просьбу Дороти, судя по тому, как умиротворенно рассматривал гравюру с Карлом Первым. При виде этого Дороти захлестнуло отчаяние, и к ней вернулась решимость.

– Отец, – сказала она тверже, чем прежде, – пожалуйста, послушай! Я *должна* получить вскорости немного денег! Просто *должна*! Мы не можем и дальше так продолжать. Мы задолжали едва ли не каждому торговцу в городе. Доходит до того, что мне иногда утром совестно идти по улице из-за всех этих счетов, ожидающих уплаты. Тебе известно, что мы должны Каргиллу почти двадцать два фунта?

– Что с того? – сказал ректор, выдувая дым.

– Но этот счет растет уже восьмой месяц! Он присылает его снова и снова. Мы *должны* заплатить! Это так несправедливо – заставлять его ждать своих денег!

– Чепуха, дитя мое! Эти люди согласны подождать своих денег. Им это нравится. В итоге они получают больше. Одному Богу известно, сколько я должен «Кэткину и Палму» – и меня это нимало не заботит. Они талдычат мне об этом с каждой почтой. Но я ведь на это не жалуюсь, не так ли?

– Но, отец, я не могу смотреть на это так, как ты, не могу! Так ужасно вечно быть в долгах! Даже если так и можно жить, это *отвратительно*. Мне от этого так стыдно! Когда я захожу за мясом в лавку Каргилла, он так резко отвечает мне и заставляет ждать, пока обслужит остальных, – и все потому, что мы ему никак не заплатим. А я не смею перестать ходить к нему. Думаю, иначе он обратится в полицию.

Ректор нахмурился:

– Как! Ты хочешь сказать, этот тип угрожал тебе?

– Я этого не говорила, отец. Но нельзя его винить, если он злится, когда мы не платим ему по счетам.

– Еще как можно! Просто кошмар, как эти люди стали много понимать о себе в наши дни – кошмар! В этом-то все и дело. Нам никуда от этого не деться в наш славный век. Вот она, демократия – *прогресс*, как им нравится это называть. Не заказывай больше у него. Скажи ему, что у тебя кредит в другом месте. С этими людьми надо только так.

– Но, отец, это не ответ. Если по-честному, разве ты не думаешь, что мы должны заплатить ему? Наверняка мы могли бы достать нужную сумму каким-нибудь образом? Не мог бы ты продать немного акций или еще чего-нибудь?

– Дитя мое, не говори мне о продаже акций! Я только что получил самые неутешительные вести от моего брокера. Он пишет, что мои акции «Суматры-жесть» упали в цене с семи фунтов четырех пенсов до шести и одного. Это значит, я потерял почти шестьдесят фунтов. Я велю ему продать весь пакет, пока еще не поздно.

– Значит, если ты их продашь, у тебя появятся наличные, так ведь? Ты не думаешь, что будет лучше разом рассчитаться с долгами?

– Чепуха, чепуха, – сказал ректор чуть спокойнее и снова закусил мундштук. – Ты в этих делах ничего не смыслишь. Мне придется тут же их снова вложить во что-нибудь понадежней – это единственный способ вернуть мои деньги.

Засунув большой палец за пояс рясы, он устремил хмурый взгляд на гравюру. Брокер советовал ему «Объединение Целаниз». В сущности, в этих компаниях – таких как «Суматра-жесть», «Объединение Целаниз» и множество других, разбросанных по всему миру, – и заключалась главная причина денежных затруднений ректора. Он был заядлым игроком. Нет, он, конечно же, не думал об этом в такой перспективе; он считал, что просто-напросто занят поисками «хорошего вложения». Войдя в возраст, он унаследовал четыре тысячи фунтов, которые постепенно сократились, благодаря его «вложениям», примерно до двенадцати сотен. А еще печальней было то, что каждый год он умудрялся наскрести полсотни фунтов со своего мизерного дохода, но и они пропадали в той же воронке. Любопытное дело, но в ловушку «хорошего вложения» духовенство, похоже, попадает чаще прочих категорий граждан. Возможно, эта напасть представляет собой современный эквивалент демонов-суккубов, изводивших анахоретов Темных веков.

– Я куплю пятьсот акций «Объединения Целаниз», – сказал наконец ректор.

Дороти стала терять надежду. Отец теперь погрузился в мысли о своих «вложениях» (Дороти ничего о них не знала, кроме того, что они с поразительной регулярностью приносили убытки), и не пройдет и минуты, как вопрос долгов совершенно выветрится у него из головы. Она предприняла последнюю попытку:

– Отец, прошу тебя, давай уладим это дело. Как думаешь, ты сможешь выдать мне некоторую сумму в ближайшее время? Не прямо сейчас, но, возможно... через месяц-другой?

– Нет, дорогая, не смогу. Ближе к Рождеству, возможно, да, и то маловероятно. Но пока что никак не могу. У меня нет ни полпенни на лишние расходы.

– Но, отец, это так ужасно – чувствовать, что мы не можем расплатиться по долгам! Это же нас бесчестит! Прошлый раз, когда приезжал мистер Уэлвин-Фостер (мистер Уэлвин-Фостер был окружным деканом), миссис Уэлвин-Фостер по всему городу наводила о нас справки самого личного свойства: как мы проводим время, и сколько у нас денег, и сколько тонн угля мы сжигаем за год, и все такое. Она вечно разнюхивает наши дела. Что, если она выяснит, что мы увязли в долгах!

– Уж конечно, это наше личное дело? Я совершенно не понимаю, какое отношение имеет к этому миссис Уэлвин-Фостер или кто бы то ни было?

– Но она растрезвонит это повсюду – и к тому же все раздует! Ты же знаешь миссис Уэлвин-Фостер. В какой приход она ни придет, она норовит выяснить что-нибудь, порочащее

местное духовенство, а потом все докладывает епископу. Я не хочу осуждать ее, но, в самом деле...

Дороти поняла, что *хочет* осудить ее, и смолкла.

– Она гадкая женщина, – сказал ректор ровно. – Что с того? Разве жены окружных деканов бывают другими?

– Но, отец, я, похоже, не в силах донести до тебя, как плачевно наше положение! Нам просто не на что жить ближайший месяц. Я даже не знаю, где достать сегодня мяса на обед.

– Ланч, Дороти, ланч! – сказал ректор с легким раздражением. – Я бы хотел, чтобы ты бросила эту кошмарную привычку низших классов называть дневную трапезу *обедом*!

– Хорошо, на ланч. Откуда мы достанем мясо? Обращаться к Каргиллу я уже не смею.

– Пойди к другому мяснику – как его, Солтеру – и забудь про Каргилла. Он знает, что ему заплатят рано или поздно. Боже правый, я не понимаю, к чему вообще вся эта мышьяная возня! Разве не все должны своим поставщикам? Я отчетливо помню, – на этих словах ректор чуть расправил плечи и, взяв трубку в рот, устремил взгляд вдаль и продолжил более спокойным, ностальгическим тоном, – помню, когда я был в Оксфорде, мой отец еще не расплатился по своим оксфордским счетам тридцатилетней давности. А Том (это был кузен ректора, баронет) набрал долгов на семь тысяч, прежде чем получил свои деньги. Он сам мне это говорил.

Последняя надежда Дороти иссякла. Когда отец заводил речь о кузене Томе или произносил слова «когда я был в Оксфорде», до него уже невозможно было достучаться. Он ускользал в воображаемый золотой век, где не было места таким низменным материям, как счет от мясника. Казалось, он нередко забывал – и не спешил вспоминать – о том, что он всего лишь обедневший провинциальный ректор, а не отпрыск знатной фамилии, претендующий на наследство. Как бы ни складывались жизненные обстоятельства, в нем всегда брал верх расточительный аристократический дух. И, конечно, пока жизнь его, не лишенная приятностей, протекала в воображаемом мире, не кому иному, как Дороти, приходилось бороться с кредиторами и растягивать баранью ногу с воскресенья до среды. Но она прекрасно понимала, что спорить с ним дальше бессмысленно – это могло лишь рассердить его. Встав из-за стола, она принялась собирать посуду на поднос.

– Ты совершенно уверен, отец, что не можешь выдать мне никаких денег? – сказала она, остановившись в дверях с подносом в руках.

Ректор – он сидел в клубах дыма, устремив взгляд вдаль, – ничего ей не ответил. Вероятно, мысли его блуждали в золотых оксфордских деньгах его молодости. Дороти вышла из комнаты в смятении, с трудом сдерживая слезы. Несносный вопрос долгов снова был отложен в долгий ящик, как и тысячу раз до того, и конца-краю этому не виделось.

### 3

Дороти катилась с холма на своем стареньком велосипеде, с плетеной корзинкой на руле, и подсчитывала в уме, как растянуть три фунта девятнадцать шиллингов и четыре пенса – всю оставшуюся сумму – до следующего квартала.

Перед выходом она просмотрела список продуктов, которых не хватало на кухне. Хотя проще было сказать, чего там хватало. Что ни возьми – чай, кофе, мыло, спички, свечи, сахар, чечевицу, растопку, соду, ламповое масло, крем для обуви, маргарин, пекарный порошок – все было на исходе. И то и дело Дороти с досадой вспоминала что-нибудь еще. Хотя бы счет из прачечной или кончавшийся уголь, а еще нужно было определиться с рыбой на пятницу. Ректор отличался «трудным» отношением к рыбе. Проще говоря, он признавал только дорогие сорта; ни трески, ни хека, ни шпрот, ни ската, ни сельди, ни копченого лосося он не ел.

Но прежде всего Дороти заботил вопрос мяса на сегодняшней обед – в смысле, *ланч*. (Она старалась не раздражать отца и называла обед ланчем. Хотя вечерний прием пищи она

не могла называть иначе как «ужином»; получалось, что для ректора не существовало такого понятия, как «обед».) Дороти решила, что на ланч у них будет омлет. Она не смела обратиться к Каргиллу. Однако, если на ланч у них будет омлет, а на ужин – яичница, отец, вне всякого сомнения, не преминет отпустить саркастическое замечание. В прошлый раз, когда она подала ему яйца второй раз за день, он холодно произнес: «Ты, никак, открыла птицеферму, Дороти?» Что ж, завтра она, пожалуй, возьмет два фунта сосисок в «Международном», так что на ближайшие сутки мясной вопрос можно было считать решенным.

А впереди грозно выстроились еще тридцать девять дней, и Дороти поминутно отгоняла чувство жалости к себе, накатывавшее при мысли о трех фунтах девятнадцати шиллингах и четырех пенсах.

«Ну же, Дороти! Пожалуйста, не надо ныть! Положись на Бога, и все как-нибудь выправится. Матфей, vi, 25<sup>15</sup>. Господь о тебе позаботится. Правда ведь?»

Дороти сняла с руля правую руку и нащупала булавку, но кошунственная мысль отступила. В тот же момент она заметила на обочине хмурого Проггетта с красной физиономией, подзывавшего ее с уважительным, но тревожным видом.

Дороти затормозила и спешила.

– Прощения, мисс, – сказал Проггетт. – Все хотел перемолвиться с вами, мисс... *особливо*.

Дороти внутренне подобралась. Когда Проггетт хотел перемолвиться с ней *особливо*, можно было не сомневаться, что за этим последуют сокрушения о плачевном состоянии церкви. Проггетт был неисправимым пессимистом и ревностным прихожанином, весьма набожным, на свой лад. Не имея, по слабости ума, устойчивых религиозных убеждений, он выказывал свою набожность неусыпной тревогой о состоянии церковных построек. Он давно для себя решил, что Церковь Христова – это действительные стены, кровля и башня Св. Этельстана, и с утра до вечера слонялся вокруг церкви, мрачно подмечая то трещину в камне, то трухлявую балку, чтобы затем, ясное дело, донимать Дороти призывами к ремонту, требовавшему немислимых денег.

– Что такое, Проггетт? – сказала Дороти.

– В общем, мисс, энти х...

Он издал глухой звук, словно собираясь откашляться, и сглотнул слово на букву «х». Дело в том, что речь его непроизвольно уснащалась бранными словами, но в разговоре с благородными людьми он прилагал усилия, чтобы подавлять их в зародыше.

– Да *колокола* энти, мисс, – продолжил он, – какие в церковной башне. Они же ж пол в колокольне напрочь продавили, ажно боязно смотреть. Мы и глазом моргнуть не успеем, как они нам бошки разmozжат. Я утром наверх слазил да скатился кубарем, вот вам крест, как увидал, до чего пол под ними продавился.

Проггетт далеко не в первый раз заводил такую речь. Вот уже три года, как колокола покоились на полу колокольни, поскольку их перевеска или вынос обошлись бы в двадцать пять фунтов, что было равносильно двадцати пяти тысячам – такая сумма была для церкви неподъемной. Проггетт едва ли преувеличивал грозившую им опасность. Все указывало на то, что если не в текущем году, то в обозримом будущем колокола непременно проломают пол колокольни и рухнут в притвор. И, как твердил Проггетт, это вполне может случиться воскресным утром, когда в церковь потянется паства.

Дороти снова вздохнула. Эти несносные колокола то и дело напоминали о себе; случилось, ей даже снилось, как они рушатся с колокольни. В церкви вечно что-нибудь было неладно. Если не колокола, так кровля или стены; или сломанная скамья, за починку которой плотник

---

<sup>15</sup> «Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?» Евангелие от Матфея, синодальный перевод.

хотел десять шиллингов; или требовались семь молитвословов, по полтора шиллинга каждый; или засорялся печной дымоход, а работа трубочиста стоила полкроны<sup>16</sup>; а то нужно было заменить разбитое стекло или износившиеся мантии для певчих. И вечно ни на что не хватало денег. Сбор средств на новый орган, о покупке которого ректор распорядился пятью годами ранее – старый, по его словам, звучал, точно корова, страдающая астмой, – налагал на церковь непосильное бремя.

– Не знаю, *что* мы можем поделать, – сказала Дороти наконец. – Правда, не знаю. У нас совершенно нет денег. И даже если мы что-нибудь выручим за детский спектакль, все пойдет на орган. Органщики нам спуска не дают. Вы говорили с моим отцом?

– Да, мисс. Ему хоть бы хны. Говорит: «Пять веков колокольня простояла, и можно положиться, что еще продержится несколько лет».

Это было в духе ректора. То обстоятельство, что церковь фактически осыпалась им на голову, нисколько его не заботило; он просто отмахивался от этого, как и от всего другого, о чем не хотел думать.

– Что ж, я не знаю, *что* мы можем поделать, – повторила Дороти. – Конечно, впереди распродажа, через две недели. Я рассчитываю, что мисс Мэйфилл одарит нас чем-нибудь по-настоящему *хорошим*. Я знаю, она могла бы. У нее такая уйма мебели и разных вещиц, какими она не пользуется. Я на днях была у нее дома и видела прекраснейший чайный сервиз, стоявший в буфете, и она сказала мне, им никто к нему не прикасался двадцать с лишним лет. Если бы только она продала этот чайный сервиз! Это принесло бы нам столько фунтов. Нам остается только молиться, Проггетт, чтобы распродажа удалась. Молитесь, чтобы она принесла нам, самое меньшее, пять фунтов. Уверена, мы как-нибудь раздобудем денег, если от всего сердца будем молиться.

– Да, мисс, – сказал Проггетт уважительно и устремил взгляд вдаль.

В этот момент пропищал клаксон, и Дороти увидела синюю машину, большую и блестящую, медленно скользившую по дороге в сторону Главной улицы. Из машины выглядывал мистер Блайфил-Гордон, владелец свеклосахарного завода, в твидовом костюме песочного цвета, нелепо контрастировавшем с его прилизанной черноволосой головой. Когда машина приблизилась к Дороти, заводчик, обычно в упор ее не замечавший, улыбнулся ей так, словно души в ней не чаял. С ним в машине был его старший сын, Ральф – Уальф, как его называли в семье, – жеманный юнец двадцати лет, писавший верлибры а-ля Элиот, и две дочери лорда Покторна. Все они расточали улыбки, даже дочери лорда. Дороти была поражена, ведь уже много лет никто из этих людей не удостоивал ее вниманием при встрече.

– Мистер Блайфил-Гордон очень любезен сегодня, – сказала она.

– А то, мисс. Иначе и быть не может. Выборы-то на носу, вот и старается. Прямо сахарная пудра, а не люди, лишь бы голос свой за них отдали, а на другой день в упор вас не узнают.

– Ах, выборы! – сказала Дороти растерянно.

Такие материи, как парламентские выборы, были настолько далеки от жизни прихода, что Дороти совершенно о них не думала – да она едва ли представляла себе разницу между либералами и консерваторами, социалистами и коммунистами.

– Что ж, Проггетт, – сказала она, выбросив выборы из головы и возвращаясь к насущным проблемам, – я поговорю с отцом и скажу ему, насколько все серьезно с колокольной. Думаю, лучшее, что мы можем сделать, это, наверно, устроить сбор средств по подписке, на одни колокола. Как знать, мы могли бы собрать пять фунтов. А может, и все десять! Как думаете, если я зайду к мисс Мэйфилл и попрошу начать подписку с пяти фунтов, она согласится?

– И думать забудьте, мисс, помяните мое слово. Мисс Мэйфилл до смерти испугается. Если она решит, что башня ненадежна, мы ее в церковь больше не затащим.

---

<sup>16</sup> Полкроны равнялось двум с половиной шиллингам, или  $\frac{1}{8}$  фунта.



– О боже! И то правда.

– Да, мисс. *Ничего* мы не возьмем с этой старой с...

«С» зашипело и испарилось на губах Прогетта. Решив, что выполнил свой долг, доложив в очередной раз Дороти о колокольне, он коснулся кепки и отбыл, а Дороти села на велосипед и поехала на Главную улицу, чувствуя, как две заботы – долги по хозяйству и церковные траты – сплетаются у нее в уме на манер вилланеллы<sup>17</sup>.

Водянистое солнце с апрельским задором играло в прятки с перистыми облаками и заливало лучами Главную улицу, золотя фасады домов на северной стороне. Это была одна из тех сонных, старомодных улиц, которые вызывают восторг у приезжих, но воспринимаются совсем иначе местными, видящими за каждым окном своих врагов или кредиторов. Два здания сразу бросались в глаза: «Старая чайная лавочка» (гипсовый фасад с декоративными балками, витражные окна и кошмарная, подвернутая крыша, в духе китайской пагоды) и новая почта с дорическими колоннами. После пары сотен ярдов Главная улица раздваивалась, образуя крошечный рынок, с водокачкой, в настоящее время неисправной, и трухлявыми колодками. По обе стороны от водокачки располагались «Пес и бутылка», главная местная таверна, и «Консервативный клуб Найп-Хилла». А в самом конце улицы стояла, словно плаха, злосчастная мясная лавка Каргилла.

Дороти завернула за угол, и на нее нахлынули шум и гам, в которые вплеталась мелодия «Правь, Британия»<sup>18</sup>, исполняемая на тромбоне. Улица, обычно малолюдная, была запружена людьми, и со всех примыкавших улиц тянулось все больше народу. Очевидно, намечалось некое триумфальное шествие. Поперек улицы, между крышами «Пса и бутылки» и «Консервативного клуба», висел транспарант с бесчисленными синими вымпелами, а посередине реяло большое знамя со словами: «Блайфил-Гордон и империя!» К этому месту медленно продвигалась в окружении людей машина Блайфил-Гордона, расточавшего щедрые улыбки – то в одну, то в другую сторону. Перед машиной маршировал под предводительством надутого коротышки, игравшего на тромбоне, отряд «Бизонов»<sup>19</sup>, над которым вздымался огромный транспарант:

Кто спасет Британию от красных?

*Блайфил-Гордон.*

Кто нальет пиво в твою кружку?

*Блайфил-Гордон.*

Блайфил-Гордон навсегда!

Из окна «Консервативного клуба» реял огромный британский флаг, а над ним сияли шесть румяных физиономий.

Дороти медленно ехала на велосипеде по улице, охваченная таким страхом перед лавкой Каргилла (ей предстояло миновать ее по пути к галантерее Соулпайпа), что почти не обращала внимания на шествие. Машина Блайфил-Гордона на минуту остановилась у «Старой чайной лавочки». Вперед, кофейная бригада! Казалось, каждая вторая дама городка бросилась навстречу заводчику, прижимая к груди собачек или хозяйственные сумки; они облепили машину, словно вакханки – колесницу Бахуса. Как-никак выборы – это практически единственная возможность выразить любезность первым лицам графства. Женщины восторженно восклицали:

---

<sup>17</sup> Жанр итальянской сатирической или любовно-лирической многоголосной песни XV–XVI вв.

<sup>18</sup> Патриотическая песня Великобритании, написанная по поэме Джеймса Томсона на музыку Томаса Арна в 1740 г.

<sup>19</sup> Королевский орден «Бизонов» – одна из крупнейших братских организаций в Соединенном Королевстве; основан в 1822 г.

– Удачи вам, мистер Блайфил-Гордон!

– *Дорогой* мистер Блайфил-Гордон!

– Мы *так* надеемся на вашу победу, мистер Блайфил-Гордон!

Улыбки мистера Блайфил-Гордона казались неиссякаемыми, однако яркость каждой из них была тщательно просчитана. Массам он улыбался общей, разбавленной улыбкой, не выделяя никого в отдельности; зато каждой из кофейных дам и шестерым румяным патриотам «Консервативного клуба» он улыбался в личном порядке; а избранным любимчикам молодой Уальф помахивал рукой и взвизгивал:

– Бъяво!

У Дороти упало сердце. Она увидела мистера Каргилла, стоявшего, подобно прочим лавочникам, на своем пороге. Это был высокий, грозного вида человек, в полосатом белосинем фартуке, с худощавым, выскобленным лицом, таким же багровым, как и заветренное мясо у него в витрине. Его зловещая фигура так захватила внимание Дороти, что она шла, не глядя перед собой, и врезалась в спину крупного, грузного человека, сошедшего на проезжую часть с тротуара.

Грузный человек обернулся.

– Силы небесные! – воскликнул он. – Никак Дороти!

– Ой, мистер Уорбертон! Вот неожиданность! А знаете, у меня было такое чувство, что я встречу вас сегодня.

– Неужто, пальчики зудят?<sup>20</sup> – сказал мистер Уорбертон, сияя всем своим крупным, румяным лицом. – Как сами-то? Боже, да что я спрашиваю? Вы еще обворожительней, чем всегда.

Он ущипнул Дороти за голый локоть (после завтрака она переоделась в платье без рукавов), и она отступила подальше – ей ужасно не нравилось, когда ее щипали или еще как-либо «тискали» – и сказала весьма сурово:

– Пожалуйста, не надо меня щипать. Мне это не нравится.

– Дороти, милая, ну как пропустить такой локоток? У меня это само собой выходит. Рефлексивное действие – понимаете, о чем я?

– Когда вы вернулись в Найп-Хилл? – сказала Дороти, загородившись от мистера Уорбертона велосипедом. – Я не видела вас больше двух месяцев.

– Позавчера вернулся. Но я ненадолго. Завтра снова отбываю. Повезу ребятню в Бретань. *Бастардов* своих.

Это слово – *бастардов* (Дороти неловко отвела взгляд) – он произнес с простодушной гордостью мистера Микобера<sup>21</sup>. Надо сказать, что он, с тремя своими «бастардами», считался одним из главных возмутителей спокойствия Найп-Хилла. Мистер Уорбертон был человеком, не стесненным в средствах, называл себя художником – за год он создавал пять-шесть посредственных пейзажей – и открыто жил со своей домработницей. В Найп-Хилле он появился за два года до того и купил недавно построенную виллу, неподалеку от дома ректора, но бывал там наездами. Четыре месяца назад его сожительница – она была иностранкой, поговаривали, что испанкой, – снова вызвала всеобщее возмущение, и посильнее прежнего, внезапно бросив его, после чего мистер Уорбертон отвез детей в Лондон, к какой-то сердобольной родственнице. Что касается его наружности, он был мужчиной импозантным и привлекательным, хотя совершенно лысым (что всячески старался скрыть), а держался с таким молодецким видом, что его внушительный живот казался лишь основанием могучего торса. Ему было сорок восемь лет, но он говорил, что сорок четыре. В городке его называли «старым проказником»; девушки его побаивались, и не без причины.

---

<sup>20</sup> Отсылка к «Макбету» У. Шекспира: так одна из ведьм предчувствует появление Макбета.

<sup>21</sup> Герой романа Чарлза Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда», неунывающий авантюрист, живущий по принципу «что-нибудь подвернется».

Мистер Уорбертон с отеческим видом приобнял Дороти за плечи и повел через толпу, без умолку разговаривая. Машина Блайфил-Гордона, объехав водокачку, направлялась в обратную сторону, все так же сопровождаемая свитой вакханок не первой молодости. Мистер Уорбертон с любопытством воззрелся на них.

– Как понимать эти отвратные кривляния? – спросил он.

– О, они – как же это называется? – проводят предвыборную агитацию. Видимо, рассчитывают, что мы за них проголосуем.

– Рассчитывают, что мы за них проголосуем! Боже правый! – пробормотал мистер Уорбертон, провожая взглядом торжественный кортеж.

Воздев свою внушительную трость с серебряным набалдашником, которая всегда была при нем, он стал указывать – и весьма выразительно – то на одну, то на другую фигуру в этом шествии.

– Взгляните на них! Только взгляните! На этих льстивых кикимор и этого полудурка, скалящегося на нас, как мартышка на мешок с арахисом. Хоть когда-нибудь видели столь мерзкий спектакль?

– Зачем же так громко?! – пробормотала Дороти. – Кто-нибудь непременно услышит.

– Хорошо! – сказал мистер Уорбертон и заговорил громче прежнего. – Подумать только, что этот безродный пес всерьез имеет наглость думать, что мы должны с восторгом лицезреть его вставные зубы! А костюмчик, что он нацепил, – смотреть тошно. Нет ли кандидата от социалистов? А то я за него проголосую.

Несколько человек на тротуаре обернулись и уставились на него. Дороти увидела, как из-за края плетеных корзин, висевших в дверях одной лавки, на них злобно таращится тщедушный, желтушный старичок, мистер Туисс, торговец скобяными изделиями. Он уловил слово «социалистов» и отметил в уме мистера Уорбертона как одного из них, а Дороти – как его сообщницу.

– Мне *правда* пора, – сказала Дороти поспешно, почувствовав, что лучше ей отделаться от мистера Уорбертона, пока он не сказал чего-нибудь еще более бестактного. – Мне еще столько всего надо купить. Что ж, пожелаю вам всего хорошего.

– О нет, постойте! – сказал мистер Уорбертон игриво. – Даже не думайте! Я – с вами.

Дороти катила велосипед по улице, а мистер Уорбертон шел рядом, продолжая говорить, выпятив грудь и убрав трость под мышку. От такого попробуй отделайся; вообще-то Дороти считала его другом, но иногда ей хотелось (ведь он был возмутителем спокойствия, а она – дочерью ректора), чтобы он выбирал не такие людные места для общения с ней. Однако в данное время она была признательна ему за компанию, позволявшую ей миновать лавку Каргилла в относительном спокойствии – Каргилл все так же стоял на своем пороге и косился на Дороти со значением.

– Считаю за удачу, что встретил вас этим утром, – сказал мистер Уорбертон. – На самом деле, я вас искал. Как думаете, кто сегодня придет ко мне на обед? Бьюли – Роналд Бьюли. Вы ведь слышали о нем?

– Роналд Бьюли? Нет, не думаю. А кто он?

– Ну, как же! Роналд Бьюли, романист. Автор «Рыбешек и девчушек». Вы же читали «Рыбешек и девчушек»?

– Нет, боюсь, не читала. На самом деле, даже не слышала.

– Дорогая моя Дороти! Вы лишаете себя *такого* удовольствия. Вам непременно надо прочитать «Рыбешек и девчушек». Горячая штучка, заверяю вас, – настоящая первоклассная порнография. Как раз то, что вам нужно, чтобы стряхнуть с себя понятия девочек-скаутов.

– Я бы хотела, чтобы вы такого не говорили! – сказала Дороти, отводя взгляд с неловким чувством и тут же снова ища его взгляда, поскольку Каргилл неотрывно следил за ней.

– Так где живет этот мистер Бьюли? – добавила она. – Уж точно не здесь?

– Нет. Он из Ипсвича приедет на обед; может, и заночует. Поэтому я вас и искал. Думал, вы могли бы захотеть познакомиться с ним. Как насчет прийти вечером ко мне на обед?

– Никак не могу прийти к вам на обед, – сказала Дороти. – Мне нужно позаботиться об ужине для отца и сделать еще тысячу дел. Я буду занята часов до восьми, если не позже.

– Что ж, приходите тогда после обеда. Я бы хотел, чтобы вы познакомились с Бьюли. Он интересный парень – очень *au fait*<sup>22</sup> насчет блумсберийских<sup>23</sup> скандалов и всякого такого. Вам понравится общаться с ним. Вам пойдет на пользу улизнуть на несколько часов из церковного курятника.

Дороти не знала, что сказать. Ей бы хотелось прийти. Откровенно говоря, редкие визиты в дом мистера Уорбертона доставляли ей удовольствие. Но визиты эти, разумеется, были *очень* редкими – не чаще раза в три-четыре месяца; ей *не подобало* водить откровенную дружбу с таким человеком. И всякий раз, перед тем как принять его приглашение, она выясняла, будет ли у него дома кто-нибудь еще.

За два года до того, когда мистер Уорбертон только приехал в Найп-Хилл (в то время он представлялся вдовцом с двумя детьми; чуть позже, однако, его домработница неожиданно разрешилась среди ночи третьим ребенком), Дороти познакомилась с ним на чаепитии и вскоре пришла к нему в гости. Мистер Уорбертон угостил ее замечательным чаем, развлекал беседой о книгах, а затем, едва они допили чай, подсел к ней на диван и начал домогаться – грубо, бесстыдно, даже агрессивно. Фактически он попытался изнасиловать ее. Дороти ужасно перепугалась, но не настолько, чтобы не дать ему отпор. Вырвавшись из его объятий, она забилась в другой угол дивана, дрожа и чуть не плача. Однако мистер Уорбертон ничуть не смутился и был, казалось, даже доволен своей выходкой.

– О, как вы могли, как вы могли? – всхлипывала она.

– Да ведь не смог же, – сказал мистер Уорбертон.

– О, но как вы могли быть таким скотом?

– Ах, это? Легко, дитя мое, легко. Доживете до моих лет, поймете.

Несмотря на такое скверное начало, между ними установилась своеобразная дружба, так что Дороти даже сделалась предметом сплетен, окружавших мистера Уорбертона. В Найп-Хилле стать предметом сплетен было нетрудно. Она бывала у него в гостях лишь изредка и старалась никогда не оставаться с ним наедине, но он, несмотря ни на что, находил возможности выразить ей нежные чувства. Впрочем, вполне по-джентльменски; он больше не пытался взять ее силой. Впоследствии, когда он заслужил ее прощение, мистер Уорбертон признался, что «проделывал это» с каждой привлекательной женщиной.

– Неужели вас не осаждали? – не удержалась Дороти.

– О, само собой. Но иногда я, знаете ли, добиваюсь своего.

Нередко люди задавались вопросом, *как* такая девушка, как Дороти, могла, пусть даже изредка, общаться с таким человеком, как мистер Уорбертон; но он обладал той властью над ней, какой богохульник и нечестивец всегда обладает над праведником. Это неоспоримый факт – оглядитесь и сами увидите, – праведников и грешников естественным образом тянет друг к другу. Лучшие сцены разврата в мировой литературе написаны, без исключения, ревностными праведниками или убежденными грешниками. Впрочем, Дороти, дитя двадцатого века, старалась выслушивать кошунственные замечания мистера Уорбертона с самым невозмутимым видом; не следует льстить людям порочным, открыто ужасаясь их взглядам. К тому же мистер Уорбертон ей нравился. Пусть он подшучивал над ней и раздражал ее, но она чувствовала с его стороны, сама того толком не сознавая, такую симпатию и понимание, каких не находила

---

<sup>22</sup> В курсе. (*фр.*)

<sup>23</sup> Bloomsbury Group (*англ.*) – группа английских интеллектуалов, писателей и художников (Вирджиния и Леонард Вулф, Вита Сэквилл-Уэст, Литтон Стрейчи, Дора Каррингтон, Бертран Рассел и др.), известная запутанными сексуальными и творческими отношениями.

больше ни в ком. При всех своих пороках, он был приятным человеком, а фальшивый блеск его речей (Оскар Уайлд, семижды разбавленный водой) казался ей образцом красноречия, шокируя и в то же время очаровывая. Вероятно, по той же причине ее пленяла возможность познакомиться с прославленным мистером Бьюли; хотя такую книжку, как «Рыбешки и девчушки», она едва ли стала бы читать, либо, прочитав, жестоко наказала бы себя. В Лондоне романисты, известное дело, встречаются на каждом шагу; но в таком городке, как Найп-Хилл, к ним было отношение особое.

– А вы *уверены*, что придет мистер Бьюли? – сказала Дороти.

– Вполне уверен. Вместе со своей женой, надо полагать. Все пройдет в рамках приличий. На этот раз мы не будем изображать Тарквиния и Лукрецию.

– Ну, хорошо, – сказала наконец Дороти, – премного благодарна. Я подойду... около половины девятого, вероятно.

– Хорошо. Если сумеете прийти при свете дня, тем лучше. Помните, что моя соседка – миссис Сэмприлл. Можно не сомневаться, что после заката она будет бдеть: *qui vive*<sup>24</sup>.

Миссис Сэмприлл была известной сплетницей – точнее сказать, самой известной из всех местных сплетниц. Получив согласие Дороти (он все время уговаривал ее заглядывать к нему почаще), мистер Уорбертон сказал ей «*au revoir*» и раскланялся.

Дороти купила в галантерее Соулпайпа два с половиной ярда материи для занавесок и только отошла от стойки, как услышала у себя над ухом тихий, печальный голос. Это была миссис Сэмприлл, стройная сорокалетняя женщина, с бледным изящным лицом в обрамлении блестящих темных волос, вызывавшим в памяти, благодаря меланхолическому выражению, портреты кисти Ван Дейка. Она вышла из своего укрытия у окна, за стопкой тканей с набивными узорами, откуда наблюдала за разговором Дороти с мистером Уорбертоном. Всякий раз, как вы бывали заняты чем-то, не предназначенным для глаз миссис Сэмприлл, можно было не сомневаться, что она где-то поблизости. Казалось, она обладала, подобно арабским джиннам, силой возникать именно там, где ее хотели видеть меньше всего. Никакое мало-мальски предосудительное действие не ускользало от ее бдительного взгляда. Мистер Уорбертон говорил, что она напоминает ему четырех тварей Апокалипсиса: «Они же все усеяны глазами и не знают отдыха ни днем ни ночью».

– Дороти, *милая*, – промурлыкала миссис Сэмприлл сострадательным голосом, словно долг велел ей раскрыть плохие новости самым бережным образом. – Я *так* хотела поговорить с тобой. Должна сообщить тебе нечто *чудовищное* – ты будешь просто *в ужасе*!

– Что такое? – сказала Дороти смиренно, хорошо представляя, что за этим последует, поскольку все разговоры миссис Сэмприлл были об одном.

Выйдя из лавки, они пошли по улице: Дороти катила велосипед, а миссис Сэмприлл семенила рядом жеманной походкой и говорила, придвигая свой рот все ближе и ближе к уху Дороти по мере того, как ее рассказ делался все более скабрёзным.

– Не случилось ли тебе заметить, – начала она, – одну девушку в церкви, которая сидит в конце скамьи, у самого органа? *Приятная* такая девушка, рыженькая. Понятия не имею, как ее зовут, – пояснила миссис Сэмприлл, зная имена и фамилии всех мужчин, женщин и детей Найп-Хилла.

– Молли Фримэн, – сказала Дороти. – Племянница зеленщика, Фримэна.

– Ах, Молли Фримэн<sup>25</sup>? Так *вот* как ее зовут? А я-то думала. Что ж...

Изящные красные губы придвинулись к уху Дороти, и миссис Сэмприлл, понизив голос до хриплого шепота, стала изливать поток отборной клеветы на Молли Фримэн и шестерых молодых людей, работавших на свеклосахарном заводе. Очень скоро эта история обросла

---

<sup>24</sup> Кто идет? (оклик часового здесь используется в значении «осторожнее» или «берегитесь»)

<sup>25</sup> Freeman (англ.) – букв.: «свободный мужчина».

такими подробностями, что Дороти, покраснев до корней волос, отстранилась от миссис Сэмприлл и встала на месте.

– Я не стану этого слушать! – сказала она резко. – Я *знаю*, что это неправда. Молли Фримэн *не могла* так поступить! Она такая хорошая, тихая девушка – она была у меня одной из лучших девочек-скаутов, и всегда с такой охотой помогает на церковных базарах, и не только. Я совершенно уверена, что она бы не стала делать того, о чем вы рассказываете.

– Но, Дороти, *милая!* Ведь я же сказала тебе, что видела это своими глазами...

– Все равно! Нехорошо говорить такое о людях. Даже если это правда, не надо повторять такое. В мире и так предостаточно зла, чтобы еще нарочно его выискивать.

– *Выискивать!* – вздохнула миссис Сэмприлл. – Но, *милая* Дороти, как будто такое *нужно* выискивать! Беда в том, что просто *невозможно* не видеть всей этой чудовищной порочности, творящейся вокруг.

Миссис Сэмприлл всегда искренне поражалась, если ее обвиняли в том, что она *выискивает* скандальные темы. Она возражала, что ничто не причиняет ей таких страданий, как зрелище человеческой развращенности; но это зрелище неотступно ее преследовало, и только неукоснительное чувство долга заставляло ее делиться увиденным с остальными. Замечания Дороти отнюдь не остудили ее пыл, а лишь привели к тому, что она заговорила об общей развращенности Найп-Хилла, так что история Молли Фримэн растворилась в массе других. От Молли с ее шестью ухажерами миссис Сэмприлл перешла к доктору Гейторну, медицинскому инспектору, который обрюхатил двух медсестер из «Коттедж-госпиталя», а далее – к миссис Корн, жене секретаря городского совета, которую нашли в поле мертвецки пьяной (и ладно бы алкоголем – одеколоном), и далее, к курату Св. Ведекинда в Миллборо, запятнавшему себя несмываемым позором с одним мальчиком из хора; и это было только начало. Стоило подольше послушать миссис Сэмприлл, и складывалось впечатление, что едва ли во всем городе и его окрестностях сыщется хоть одна душа, не хранящая некий постыдный секрет.

Надо отметить, что ее истории были не только грязными и лживыми, но и отличались в большинстве своем некой чудовищной извращенностью. По сравнению с другими местными сплетницами, она была словно Фрейд рядом с Боккаччо. Доверчивый слушатель проникался уверенностью, что Найп-Хилл с населением в пару тысяч человек представляет собой скопище пороков пострашнее, чем Содом, Гоморра и Буэнос-Айрес вместе взятые. В самом деле, стоило задуматься об этих жителях Города беззакония последних дней – от управляющего банком, двоеженца, который тратит деньги клиентов на своих детей, до буфетчицы из «Пса и бутылки», подающей выпивку в задней комнате нагишом, на бархатных шпильках, и от старой мисс Шеннон, учительницы музыки, втихаря хлещущей джин и строчащей подложные письма, до Мэгги Уайт, дочери пекаря, родившей троих детей от родного брата, – стоило вам задуматься об этих людях, молодых и старых, богатых и бедных, но так или иначе погрязших во всех вавилонских пороках, вы поражались, как еще с небес не пролился огонь, чтобы пожрать весь этот нечестивый городок. Но если слушать эти рассказы достаточно долго, в какой-то момент они становились не просто чудовищными, но и утомительными. Ведь в городке, где *каждый*, кого ни возьми, двоеженец, педераст или наркоман, самая сальная история теряет свою соль. По существу, миссис Сэмприлл была не столько злоязычницей, сколько занудой.

Что же касалось доверия горожан к ее историям, ситуация складывалась неоднозначная. Иногда ее клеймили как завзятую сплетницу, которой нельзя верить; а иногда ее наветы достигали цели, и какой-нибудь бедолага не мог потом отмыться несколько месяцев, а то и лет. Она определенно преуспела в том, чтобы расстроить не менее полудюжины помолвок и спровоцировать бесчисленные ссоры между супругами.

Дороти уже довольно продолжительное время безуспешно пыталась отделаться от миссис Сэмприлл. Она все дальше и дальше отступала от тротуара на проезжую часть и так дошла до другой стороны; но миссис Сэмприлл неотрывно шла за ней, неумолчно шепча ей на ухо.

Только дойдя до конца Главной улицы, Дороти набралась храбрости для решительного рывка. Она остановилась и поставила правую ногу на педаль.

– Я на самом деле больше не могу задерживаться, – сказала она. – Мне нужно переделать тысячу дел, и я уже опаздываю.

– Ой, но, Дороти, милая! Я просто *должна* сказать тебе что-то еще – что-то *очень* важное!

– Извините... Я так ужасно спешу. Пожалуй, в другой раз.

– Это касается *ужасного* мистера Уорбертона, – затараторила миссис Сэмприлл, чтобы Дороти не осталась в неведении. – Он только вернулся из Лондона, и знаешь – я *особенно* хотела сказать тебе вот что, – ты знаешь, он вообще-то...

Но тут Дороти решила, что ей нужно во что бы то ни стало отвязаться от нее. Это казалось ей верхом бестактности – обсуждать с миссис Сэмприлл мистера Уорбертона. Дороти села на велосипед и закрутила педали, бросив напоследок:

– Извините... Мне совершенно *некогда*!

– Я хотела сказать тебе, он сошелся с новой женщиной! – прокричала ей вслед миссис Сэмприлл, забыв в приливе возбуждения о всякой конспирации.

Но Дороти стремительно повернула за угол, не оглядываясь и делая вид, что ничего не услышала. Это было опрометчиво, поскольку миссис Сэмприлл не терпела пренебрежения к себе. Если вы не желали выслушивать ее откровения, она объясняла это вашей собственной порочностью, и не успевали вы понять, что случилось, как сами становились предметом ее сплетен.

По пути домой Дороти отметила, что думает недобрые мысли о миссис Сэмприлл, и хорошенько себя ущипнула. Кроме того, ее посетила неожиданная тревожная догадка: миссис Сэмприлл непременно узнает о ее визите к мистеру Уорбертону и, вероятно, уже к завтрашнему дню раздует из этого очередной скандал. Эта мысль вызвала у Дороти дурное предчувствие, усилившееся, когда она подъехала к дому и увидела у ворот местного дурачка, Глупого Джека, с треугольной алой физиономией, похожей на землянику, который стегал воротный столб ореховым прутом.

#### 4

Было начало двенадцатого. День, рядившийся с утра в апрельскую свежесть, словно перезревшая, но неунывающая вдовушка – в молодку, вспомнил, что на дворе август, и дохнул зноем.

Дороти приехала на велосипеде в деревушку Феннелвик, в миле от Найп-Хилла. Первым делом она отдала миссис Льюин мозольный пластырь, а затем направилась к старой миссис Пифер, отдать вырезку из «Дейли мейл» о чае из ангелики от ревматизма. Солнце, палившее с безоблачного небосвода, жгло ей спину через платье, пыльная дорога дрожала в волнах марева, а прогретые равнинные луга, привлекавшие оголтело щебетавших жаворонков, были до того зелены, что резали глаза. Иными словами, «денек стоял славный», по выражению людей, которым не нужно работать.

Дороти прислонила велосипед к воротам коттеджа Пиферов, достала из сумки платок и вытерла руки, вспотевшие от велосипедного руля. В резком солнечном свете лицо ее казалось изможденным и блеклым. В этот утренний час она выглядела не моложе своих лет и даже, пожалуй, постарше. В течение дня – день ее длился в среднем семнадцать часов – она поочередно испытывала периоды усталости и подъема; на середину утра, когда она начинала наносить свои «визиты», приходился один из периодов усталости.

Эти визиты – дома прихожан были так разбросаны по округе, что Дороти выручал только велосипед, – занимали примерно половину ее дня. Каждый божий день, кроме воскресений, Дороти совершала от полудюжины до дюжины визитов. Она входила в тесные жилища, сади-



лась в продавленные, пропыленные кресла и слушала сплетни загруженных работой, растрепанных домохозяек; она торопливо, иной раз по полчаса, помогала со штоккой и гладкой и читала главы из «Евангелий», меняла перевязки на «увечных ногах» и утешала недужных рожениц; качала на деревянной лошадке немых детей, хватавших ее за ворот платья липкими пальчиками; советовала удобрения для фикусов и имена для новорожденных и выпивала бесчисленные «чашечки чаю» – женщины из рабочего класса неизменно угощали ее «чашечкой чаю» из вечно кипевших чайников.

По большей части работа эта была на редкость неблагодарной. Все говорило о том, что немногие, очень немногие женщины имели хотя бы смутное представление о христианской жизни, которую Дороти пыталась помочь им вести. Были среди них пугливые и подозрительные, смотревшие на нее с вызовом и находившие всевозможные отговорки, чтобы не приходить на Святое Причастие; были и такие, кто изображал благочестие лишь затем, чтобы добраться до скромных сумм из церковного ящика для пожертвований; а те, кто радовался визитам Дороти, видели в ней прежде всего слушательницу, которой можно поплакаться о «похождениях» своих мужей или о бесконечно умиравших близких («А в вены ему навтыкали стеклянных трубок» и т. д., и т. п.), с описанием отвратительных физиологических подробностей. Не меньше полновины из тех, кого Дороти навещала – и она это знала, – были в душе неверующими, имея на то какие-то свои туманные, неблагоразумные основания. Она сталкивалась с этим дни напролет – с расплывчатым, безотчетным неверием, столь обычным у полуграмотных людей, против которого бессильны любые доводы. Что бы Дороти ни делала, ей никак не удавалось увеличить постоянную численность паствы хотя бы до двух десятков человек. Отдельные женщины обещали, что будут причащаться, и действительно приходили месяц-другой, а потом прекращали. Безнадежней всего было с молодыми женщинами. Они даже не вступали в местные отделения церковных кружков, задуманных для их же блага, – Дороти вела три таких кружка, не считая того, что была капитаном девочек-скаутов. «Обруч надежды»<sup>26</sup> и «Спутник супружества» почти никто не посещал, а «Союз матерей» собирался лишь потому, что его скрепляли сплетни, шитье и нескончаемые запасы крепкого чая. Что и говорить, работа была неблагодарной; настолько неблагодарной, что могла бы показаться Дороти совершенно тщетной, если бы она не знала, что чувство тщетности – это тончайшая уловка дьявола.

Дороти постучалась в перекошенную дверь дома Пиферов, из-под которой просачивался тоскливый дух вареной капусты и струйка воды из кухни. За долгие годы Дороти так хорошо усвоила все эти запахи, что могла узнать каждый дом с закрытыми глазами. Какие-то из них пахли до крайности своеобразно. К примеру, дом старого мистера Томбса<sup>27</sup> – ушедшего на покой букиниста с длинным облупленным носом, на котором сидели лекторские очки, целыми днями не встававшего с кровати в тусклой комнате, – отличался едким, звериным запахом.

При первом впечатлении казалось, что старик укрыт толстым меховым покрывалом внушительных размеров. Но стоило вам коснуться этого покрывала, как оно приходило в движение и стремительно разлеталось по всей комнате. Оно состояло сплошь из кошек – двадцати четырех, если точно. Мистер Томбс объяснял, что они «не дают ему мерзнуть». Почти в каждом из этих домов присутствовал общий запах из старых пальто и сточной воды, на который накладывались прочие, индивидуальные запахи: выгребной ямы, вареной капусты, немых детей и едкий, горьковатый дух рабочей одежды, пропитанной многолетним потом.

Дверь открыла миссис Пифер – дверь, как обычно, подалась не сразу, а потом так ударила о стену, что сотрясся весь дом. Хозяйка была дородной, сутулой, седой женщиной с растрепанными волосами, в обвисшем переднике и стоптанных шлепанцах.

<sup>26</sup> Band of Hope (англ.) имеет переносное значение старой девы, ищущей жениха.

<sup>27</sup> Tomb (англ.) – «склеп», «гробница».

– Ой, неужели мисс Дороти! – воскликнула она уставшим, невнятным, но не лишенным радующий голосом.

Приобняв Дороти большими руками с шишковатыми костяшками, лоснившимися, точно ободранные луковицы, она чмокнула ее в щеку и повела в захлавленную гостиную.

– Пифер на работе, мисс, – объяснила хозяйка. – Пошел к доктору Гейторну, вскапывает ему клумбы цветочные.

Мистер Пифер подрабатывал садовником. Чета Пиферов – обоим было за семьдесят – относились к числу немногих подлинно благочестивых прихожан из списка Дороти. Миссис Пифер вела унылую, сомнамбулическую жизнь, шаркая туда-сюда с постоянно ноющей шеей – дверные притолоки были слишком низкими для нее – между колодцем, раковиной, камином и крохотным огородиком. Кухня содержалась в относительном порядке, но там было ужасно жарко, и в спертом воздухе висела вековая пыль. У стены напротив камина миссис Пифер устроила нечто вроде аналоя из засаленного лоскутного коврика, лежавшего перед маленькой неисправной фисгармоникой, на которой стояли олеография<sup>28</sup> распятия с вышитыми бисером словами: «Бди и молись» и фотография мистера и миссис Пифер в день их свадьбы, в 1882 году.

– Бедняга Пифер! – продолжала миссис Пифер своим гнетущим голосом. – В его-то годы ковыряться в земле, с его ревматизмом – *швах!* Разве не лютая наша доля, мисс? А у него такая что ли боль между ногами, мисс, он и объяснить толком не может – ужас, как мучается, уже какой день. Разве не горькая наша доля, мисс, бедным работягам, жить такой вот жизнью?

– Какая жалость, – сказала Дороти. – Но я надеюсь, сами вы получше себя чувствуете, миссис Пифер?

– Ах, мисс, какое там *получше*. Мне уже *ничем* не получшеет. Не в *этом* мире, нетушки. Мне уже не получшеет, не в этом падшем, дольном мире.

– О, не надо говорить так, миссис Пифер! Я надеюсь, вы еще долго будете с нами.

– Ах, мисс, не знаете вы, как я хворала всю неделю! Ревматизм замучил ноги старые мои – то скрутит, то отпустит – на зад, по всем ногам. Поутру иной раз чую, не дойду до огорода, луку горсть надергать. Ах, мисс, в тяжком мире мы живем. Али нет, мисс? В тяжком, грешном мире.

– Но мы ведь не должны забывать, миссис Пифер, что грядет лучший мир. Эта жизнь – лишь пора испытаний, просто чтобы укрепить нас и научить смирению, чтобы мы были готовы к небесам, когда придет пора.

Тут же настроение миссис Пифер переменялось к лучшему. Дело было в слове «небеса». Миссис Пифер могла бесконечно говорить о двух вещах: счастливые небеса и горестная земная жизнь. Замечание Дороти действовало на нее словно заклинание. И пусть в тусклых глазах старухи не загорелся огонек, но в голосе возникло некоторое воодушевление.

– Ах, мисс, вот же вы сказали! Это истое слово, мисс! Так и мы с Пифером говорим себе. И тока это вот и помогает нам держаться – одна мысль о небесах; вот уж где мы отдохнем так отдохнем. Как мы ни страдаем, все воздастся на небесах, верно же, мисс? Самое наималейшее страдание, все тебе сторицею и тысячекратно воздастся. ВОТ где истина, а, мисс? Все отдохнем на небесах – там будет мир и покой, и никакого ревматизма, ни тебе копания, ни готовки, ни стирки – ничегошеньки. Вы же *верите* в это, верно же, мисс Дороти?

– Конечно, – сказала Дороти.

– Ах, мисс, вы бы знали, какое нам утешение – самые мысли о небесах! Пифер мне говорит, как домой придет под ночь и ревматизм нас скрутит: «Не горюй, родная, – говорит, – нас уж небеса заждались», – говорит. «Небеса для таких, как мы с тобой, – говорит, – для

---

<sup>28</sup> Олеография (от *лат.* oleum – «масло» и *др.-греч.* γράφω – «пишу», «рисую») – многокрасочная литография с картины, писанной масляными красками.

таких вот работающих бедолаг, вроде нас с тобой, кто трезвился, и Бога чтил, и от церкви не отлынивал». Так-то оно лучше, а, мисс Дороти: в этой жизни бедняки, зато в той богачи. Не то что богачам: у них-то ни автомашины, ни дома красивые не избегнут червя неусыпающего и огня неугасающего. До чего красиво сказано, так-то. Как думаете, прочтете со мной молитовку, мисс Дороти? Я всю утру ждала, не молилась.

Миссис Пифер в любое время дня и ночи была готова предложить Дороти «молитовку», как другие хозяйки предлагали ей «чашечку чаю». Встав коленями на коврик, они прочли «Отче наш» и краткую недельную молитву<sup>29</sup>; а затем Дороти, по просьбе миссис Пифер, прочитала ей притчу о богаче и Лазаре.

– Аминь! – сказала миссис Пифер. – Это слово истое, а, мисс Дороти? «И отнесен был ангелами на лоно Авраамово»<sup>30</sup>. Красота-то какая! Ох же, красота неизреченная! Аминь, мисс Дороти, аминь!

Дороти отдала миссис Пифер газетную вырезку о чае из ангелики от ревматизма, а затем, услышав, что ей сегодня слишком нездоровится, чтобы набрать из колодца воду, сходила и набрала ей три ведра. Колодец был очень глубоким и с таким низким краем, что оставалось только удивляться, как старуха до сих пор не свалилась туда; к тому же отсутствовал ворот – ведро приходилось вытаскивать за веревку руками.

После этого они еще немного посидели, и миссис Пифер поговорила о небесах. Поразительно, какое место в ее мыслях занимали небеса; но еще больше поражала отчетливость, достоверность, с какой она их описывала. Золотые улицы и врата из восточных жемчугов были для нее так реальны, словно она видела их своими глазами. А ее видения доходили до самых конкретных, самых земных подробностей. Ох, и мягкие там постели! Ох, и восхитительная пища! Как же хороша шелковая одежда – чистая каждое утро! И никакой работы и в помине, абсолютно никакой! Едва ли не каждый миг своей жизни миссис Пифер находила поддержку и утешение в видениях небес, и ее смиренные жалобы на жизнь «работающих бедняков» причудливым образом уравнивались той отрадой, какую давала ей мысль, что не кому иному, как «работающим беднякам», заповеданы небеса. Это была своего рода сделка с Богом: тяготы земной жизни гарантировали вечное блаженство. Вера миссис Пифер была *слишком* велика, если такое возможно. Ибо, как ни странно, но уверенность, с какой миссис Пифер говорила о небесах – словно о некоем элитном санатории, – странным образом смущала Дороти.

Дороти собралась уходить, и миссис Пифер стала благодарить ее – весьма горячо – за участие, а под конец, как обычно, еще раз пожаловалась на свой ревматизм.

– Обязательно заварю чай из ангелики, – заключила она, – и спасибо вам большое, мисс, что сказали мне. Не то чтобы я думала, что он мне шибко поможет. Ах, мисс, кабы вы знали, до чего лютый ревматизм меня мучил эту неделю! По ногам, на задку – вот где – точно кто знай себе тычет раскаленной кочергой, а я сама, кажись, не дотянусь, хорошенько растереть их. Я не слишком много попрошу, мисс, чтобы вы маленько ноги мне растерли, пока не ушли? У меня бутылёк «Эллимана»<sup>31</sup> под раковиной.

Дороти тайком сильно ущипнула себя. Она ожидала такой просьбы, поскольку ей уже не раз случалось растирать миссис Пифер, и ей это *не нравилось*. Дороти гневно отчитала себя.

«Ну-ка, Дороти! Хватит чваниться, пожалуйста! Иоанн, хііі, 14»<sup>32</sup>.

– Конечно, миссис Пифер! – сказала она с готовностью.

Они поднялись по узкой, покосившейся лестнице, потолок над которой нависал в одном месте так низко, что приходилось сгибаться почти вдвое. Спальня освещалась одним квад-

---

<sup>29</sup> Особый вид молитвы в англиканской и католической церквях.

<sup>30</sup> Евангелие от Луки: 16, 22, синодальный перевод.

<sup>31</sup> «Elliman's embrocation» (англ.) – мазь для суставов.

<sup>32</sup> «Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу». Евангелие от Иоанна, синодальный перевод.

ратным окошком, не открывавшимся двадцать лет из-за вьюнка, опутавшего раму снаружи. Воняло мочой и камфарной настойкой опия. Почти все пространство занимала огромная двуспальная кровать с вечно влажными простынями и пуховой периной, вздымавшейся там и сям, словно контурная карта Швейцарии. Старуха со стонами забралась на кровать и легла на живот. Дороти открыла бутылочку «Эллимана» и принялась тщательно растирать ее толстые, дряблые ноги с серыми венами.

Выйдя на воздух, в знойное марево, она села на велосипед и стремительно покатила домой. Солнце палило ей в лицо, но воздух теперь казался сладким и свежим. Она была счастлива, счастлива! Она всегда испытывала приливы ни на что не похожего счастья, разделавшись со своими утренними «визитами»; и, странно сказать, не могла понять причину. На лугу молочного фермера Борлейса паслись рыжие коровы, по колено в переливчатых волнах травы. Ноздри Дороти наполнил коровий запах – дистиллят ванили и свежего сена. И хотя работы у нее оставалось предостаточно, она уступила желанию чуть задержаться и остановила велосипед у ворот пастбища Борлейса, глядя, как корова с влажным кораллово-розовым носом, трется подбородком о воротный столб и смотрит на нее туманным взглядом.

Дороти увидела шиповник по ту сторону изгороди, уже отцветший, и ей так захотелось посмотреть на него поближе, что она перелезла через ворота. Опустившись на колени в заросли сорняков, она почувствовала жар, исходящий от земли. В ушах у нее жужжали невидимые сонмы насекомых, и всю ее окутало горячее душистое дыхание буйной растительности. Рядом рос высокий фенхель, с вьющимися побегами, наподобие изумрудно-зеленых лошадиных хвостов. Дороти притянула к лицу веточку фенхеля и вдохнула насыщенный сладкий запах. Его сила так ее ошеломила, что закружилась голова. Она впитывала его, наполняя легкие. Чудесный, просто чудесный аромат – аромат летних дней, детских радостей, пряных островов, омываемых теплой пеной восточных морей!

Сердце ее преисполнилось восторгом. Этот таинственный восторг перед красотой земли и самой природы Дороти принимала – возможно, ошибочно – за любовь Бога. Она сидела в жаркой траве, вдыхая душистые ароматы и слыша дремотный гомон насекомых, и на миг ей показалось, что она слышит величавое славословие, неумолчно возносимое землей и всеми тварями земными своему создателю. Вся растительность, вся листва, цветы, трава – все это сияло, дрожало и пело от восторга. А с неба лили музыку невидимые жаворонки, целые хоры жаворонков. Все богатства лета, тепло земли, пение птиц, запах коров, жужжание бесчисленных пчел, круживших и паривших, точно фимиами, курящийся над алтарями. Посему мы с ангелами и архангелами! Дороти начала молиться, и с минуту молилась истово и самозабвенно, отдаваясь блаженному восторгу славословия. А затем вдруг отдала себе отчет, что целует веточку фенхеля, касавшуюся ее лица.

Она тут же опомнилась и отпрянула. Что она делала? Кого славословила – Бога или лишь землю? Восторг оставил ее сердце, уступив место холодному, неприятному чувству, что она впала едва ли не в языческий экстаз. Дороти отчитала себя.

«Ну, *хватит*, Дороти! Пожалуйста, никакого поклонения природе!»

Отец предостерегал ее от этого. Она не раз слышала, как он порицал такие настроения в проповедях; он говорил, что это не что иное, как пантеизм и – это его особенно корбило – отвратительная новомодная причуда. Дороти взялась за ветку шиповника и трижды уколола руку, чтобы напомнить себе о Трех Лицах Троицы, а затем перелезла через ворота и села на велосипед.

Из-за края изгороди показалась широкополая шляпа, черная и пропыленная, и стала приближаться к Дороти. Это был отец Макгайр, тоже на велосипеде, римокатолический священник, объезжавший своих прихожан. Он отличался таким корпулентным сложением, что вело-

сипед под ним терялся, точно ти<sup>33</sup> под мячиком для гольфа. На его румяном, довольном лице играла чуть ехидная улыбка.

Дороти внезапно упала духом. Она покраснела и непроизвольно потянулась рукой к кресту под платьем. Отец Макгайр приближался к ней с самым невозмутимым видом. Она попыталась улыбнуться и промямлила:

– Доброе утро.

Но он проехал мимо, едва взглянув на нее; его взгляд скользнул по ее лицу и проследовал дальше, с таким видом, словно ее просто не существовало. Это был форменный отлуп. Дороти – форменный отлуп, увы, был ей не по силам – села на велосипед и поехала своей дорогой, борясь с недобрыми мыслями, всегда появлявшимися у нее после встречи с отцом Макгайром.

Лет за пять или шесть до того, когда отец Макгайр вел похоронную службу на кладбище Св. Этельстана (римско-католического кладбища в Найп-Хилле не было), между ним и ректором возник спор о том, где отцу Макгайру следует облачаться в рясу (в церкви или не в церкви), и два священника стали препираться через разверстую могилу. С тех пор они не разговаривали. Уж лучше так, говорил ректор.

Что касалось прочих священнослужителей Найп-Хилла – мистера Уорда, конгрегационалистского священника, мистера Фоли, уэслианского<sup>34</sup> пастора и крикливого лысого старовера, устраивавшего оргии в часовне Эбenezера, – ректор называл их шайкой презренных раскольников и строжайше запрещал Дороти всяческое общение с ними.

## 5

Был полдень. В просторной, старинной теплице, стеклянная крыша которой от времени и грязи покрылась тускло-зеленым налетом, мерцавшим, словно старый римский стакан, Дороти со своими подопечными сбивчиво и шумно репетировала «Карла Первого».

Сама Дороти не участвовала в репетиции, но зато отвечала за реквизит. Она мастерила костюмы – большую их часть – для всех пьес, которые ставила со школьниками. Собственно, постановками и репетициями занимался Виктор Стоун – Дороти звала его просто Виктор, – директор церковной школы. Это был щуплый вспыльчивый брюнет двадцати семи лет, одетый в темную строгую одежду, и в настоящий момент он отчаянно махал свитком рукописи в сторону шести детей, недоуменно смотревших на него. На длинной скамье у стены еще четверо детей поочередно осваивали «звуковые эффекты», стуча кочергами, и вздорили из-за замызганной коробочки «Мятных драже», по пенни за сорок штук.

В теплице было ужасно жарко и сильно пахло клеем и кислым детским потом. Дороти сидела на полу, зажав во рту булавки, а в руке – ножницы, и стремительно нарезала коричневую оберточную бумагу на длинные узкие полоски. Рядом на примусе булькала банка клея, а за спиной у Дороти на шатком, заляпанном чернилами рабочем столе швейная машинка соседствовала с ворохом недоделанных костюмов, стопкой листов оберточной бумаги, мотками бечевы, брусками сухого клея, деревянными мечами и открытыми банками с краской. Мысли Дороти перескакивали с двух пар ботфортов семнадцатого века, которые предстояло изготовить для Карла Первого и Оливера Кромвеля, на сердитые окрики Виктора, распалившегося до крайности, как с ним всегда случалось на репетициях. Сам он был прирожденным актером, и его выводили из себя тягомотные репетиции с не слишком одаренными детьми. Он шагал взад-вперед, отчитывая детей, не стесняясь в выражениях, и периодически хватал со стола деревянный меч и делал грозные выпады в чью-нибудь сторону.

---

<sup>33</sup> (англ.) Тее – особая подставка в форме буквы «Т» для мячика в гольфе.

<sup>34</sup> Уэслианство – одно из направлений протестантизма.

– Не можешь, что ли, поживее? – кричал он, тыча в живот малолетнего остолопа. – Не тупи! Говори осмысленно! У тебя вид, как у трупа, которого закопали и выкопали. Чего ты там бубнишь себе под нос? Встань и рявкни на него. Ты же играешь убийцу!

– Перси, иди сюда! – прокричала Дороти, не вынимая изо рта булавок. – Быстро!

Она мастерила доспехи – самая паршивая работа, не считая жутких ботфортов, – из оберточной бумаги и клея. Внушительный опыт позволял Дороти смастерить почти что угодно из этих нехитрых материалов, даже вполне приличный завитой парик, с основой из оберточной бумаги и волосами из крашеной пакли. За год она тратила прорву времени, возясь с клеем, бумагой, суровой марлей и прочим инвентарем постановщика-любителя. Различные церковные фонды так отчаянно нуждались в средствах, что, помимо базаров и распродаж, едва ли не каждый месяц приходилось ставить школьные спектакли, живые картины и мимические интерлюдии.

Перси – Перси Джоуэтт, сын кузнеца, кудрявый невысокий мальчуган, – слез со скамьи и предстал перед Дороти, ерзая с несчастным видом. Она схватила лист оберточной бумаги, приложила к нему, проворно вырезала отверстия для головы и рук, обернула вокруг талии и быстро заколола, изобразив подобие нагрудника. Между тем пространство оглашалось следующей многоголосицей.

ВИКТОР: Давайте же, давайте! Входит Оливер Кромвель – это ты! НЕТ, не так! По-твоему, Оливер Кромвель входит, как побитая дворняжка? Расправь плечи. Выпяти грудь. Брови насупь. Уже лучше. Теперь давай, *Кромвель*: «Ни с места! У меня в руке пистоль!» Ну.

ДЕВОЧКА: Извините, мисс, мама сказала, чтобы я сказала вам, мисс...

ДОРОТИ: Стой смирно, Перси! Бога ради, не вертись!

КРОМВЕЛЬ: Низ места! У меня вру кепи столь!

МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА НА СКАМЬЕ: Мистер! Я уронила леденец! [хныча] Уронила ледене-е-ец!

ВИКТОР: Нет-нет-НЕТ, Томми! Нет-нет-НЕТ!

ДЕВОЧКА: Извините, мисс, мама сказала, чтобы я сказала вам, что она не смогла сшить мне трико, как обещала, мисс, потому что...

ДОРОТИ: Еще раз так сделаешь, я булавку проглочу.

КРОМВЕЛЬ: Ни с места! У меня в руке...

МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА [плача]: Леде-е-е-енчик мой!

Дороти схватила кисточку с клеем и стала лихорадочно обклеивать внахлест полосками оберточной бумаги доспехи Перси, снизу доверху, спереди и сзади, но была вынуждена прерваться из-за бумаги, приклеившейся к пальцам. Через пять минут кираса из бумаги и клея сделалась ее стараниями настолько прочной, что могла бы, высохнув, служить бронежилетом. Перси, «закованный в латы», с острым бумажным краем, врезавшимся в подбородок, покорно сносил неудобства, точно собака, которую моют. Дороти взяла ножницы, надрезала сбоку нагрудник и, сняв его, поставила сохнуть и сразу принялась за другого ребенка. Тут же раздавались устрашающие «звуковые эффекты» – это дети отрабатывали звуки выстрелов и лошадиного галопа. Пальцы Дороти все больше зарастали клеем, но она время от времени споласкивала их в ведре с теплой водой, стоявшем наготове. За двадцать минут она успела сделать основную часть трех нагрудников. Их еще предстояло довести до ума, раскрасить алюминиевой краской и зашнуровать по бокам; а после нужно будет приниматься за подола и – самое худшее – за шлемы. Виктор между тем размахивал мечом и, перекрикивая «галопирующих лошадей», изображал поочередно Оливера Кромвеля, Карла Первого, «круглоголовых», «кавалеров», крестьян и придворных дам. Дети уже подустали – они зевали, куксились и украдкой пинали и щипали друг дружку. Разделавшись с нагрудниками, Дороти сгребла часть хлама со стола, села за швейную машинку и стала шить зеленый вельветовый камзол из суровой марли с зеленым отливом – с расстояния будет смотреться в самый раз.

Прошли еще десять минут лихорадочной деятельности. Затем у Дороти порвалась нитка, и она едва не чертыхнулась, но одернула себя и поспешно вставила новую. Она боялась не успеть вовремя. До пьесы оставалось всего две недели, и Дороти приходила в отчаяние при мысли обо всем, что еще оставалось несделанным: шлемы, камзолы, мечи, ботфорты (ох уж эти проклятые ботфорты – они преследовали ее в кошмарах), ножны, брыжи, парики, шпоры, декорации... Родители никогда не помогали с костюмами для школьных спектаклей; точнее, они всегда обещали помочь, но дальше этого дело не шло. У Дороти ужасно разболелась голова – отчасти из-за жары в теплице, отчасти оттого, что за шитьем камзола она напряженно обдумывала выкройки для ботфорт из оберточной бумаги. Она до того увлеклась, что даже забыла про счет. Все, о чем она могла думать, это устрашающая гора несделанных костюмов, возвышавшаяся перед ней. И так проходили все ее дни. Одна забота напирала на другую – будь то костюмы для школьного спектакля или грозящий провалиться пол колокольни, всевозможные долги или душившие горох сорняки, – и каждая забота была до того срочной и беспокойной, что требовала к себе безраздельного внимания.

Виктор бросил на пол деревянный меч и взглянул на свои карманные часы.

– Ну, порядок! – сказал он резко, даже грубовато, как всегда говорил с детьми. – Продолжим в пятницу. Давайте, выметайтесь! Тошнит уже от вас.

Проводив детей, он моментально забыл об их существовании, вынул из кармана нотный лист и стал беспокойно мерить шагами помещение, косясь на два чахлых растения в углу, тянувших за края горшков засохшие бурые побеги. Дороти по-прежнему склонялась над швейной машинкой, прошивая зеленый бархатный камзол. Виктор был неугомонным интеллигентным созданием и бывал счастлив, только когда выяснял с кем-нибудь отношения. Его бледное, изящное лицо, казалось, вечно выражало недовольство, но в действительности это было выражение мальчишеской неусидчивости. Люди, впервые видевшие его, считали, что он растрчивает свои таланты на такой несерьезной работе, как директор приходской школы, но правда была в том, что профессиональные таланты Виктора ограничивались скромными способностями к музыке и значительно большими – в обращении с детьми. Не хватавший звезд с неба в других областях, с детьми он умел обращаться; он с ними не церемонился. Но, как и все люди, на этот свой особый талант он смотрел с пренебрежением. Почти все его интересы вращались вокруг церкви. Он был, что называется, *клерикалом*. Его всегда притягивала церковь, и он охотно избрал бы ее своим поприщем, если бы его умственных способностей хватило на овладение греческим и ивритом. Вот так, не сумев получить духовного сана, он вполне закономерно сделался учителем приходской школы и церковным органистом. Это давало ему возможность, образно выражаясь, вращаться в церковных кругах. Само собой, он был англоманом самого непримиримого толка – большим клерикалом, чем сами клирики, знатоком истории церкви и экспертом по церковному облачению, в любой момент готовым разразиться гневной тирадой против модернистов, протестантов, социалистов<sup>35</sup>, большевиков и атеистов.

– Я подумала, – сказала Дороти, перестав шить и отрезав нитку, – мы могли бы сделать эти шлемы из старых шляп-котелков, если бы нашли достаточно. Срезать поля, приделать бумажные, нужной формы, и посеребрить.

– Господи, зачем забивать себе этим голову? – сказал Виктор, потерявший к пьесе интерес, едва закончилась репетиция.

– Больше всего голова у меня забита паршивыми ботфортами, – сказала Дороти, положив камзол на колени и рассматривая его.

– Ой, ну их, эти ботфорты! Давай забудем на миг о пьесе. Послушай, – сказал Виктор, разворачивая свой нотный лист, – я хочу, чтобы ты обратилась к отцу для меня. Я бы хотел, чтобы ты спросила его, нельзя ли нам устроить процессию как-нибудь в следующем месяце.

---

<sup>35</sup> Последователи т. н. христианской науки, разновидности либерального протестантизма.



– Еще одну процессию? Зачем?

– Ну, не знаю. Всегда можно найти повод для процессии. Восьмого будет Рождество В.В.М.<sup>36</sup> – я так думаю, вполне себе событие. Мы сделаем все в лучшем виде. Я раздобыл великолепный духоподъемный гимн, который дети смогут прореветь, и мы, пожалуй, могли бы позаимствовать у Ведекинда в Миллборо синюю хоругвь с Девой Марией. Если ректор замолвит слово, я тут же начну натаскивать хор.

– Ты же знаешь, он будет против, – сказала Дороти, вдевая нитку в иглоку, чтобы пришить пуговицы к камзолу. – Он ведь не одобряет процессий. Самое лучшее не сердить его понапрасну.

– Ой, какой вздор! – возразил Виктор. – У нас уже несколько месяцев не было процессий. Я нигде не видел таких безжизненных служб, как здесь. Иной раз посмотришь – можно подумать, у нас какая-то баптистская капелла или я не знаю что.

Виктора вечно выводила из себя суровая простота ректорских служб. Сам он приветствовал то, что называл «настоящим католическим богослужением», то есть бесконечные воскурения, позолоченные образа и пышные римские облачения. Будучи церковным органистом, он постоянно настаивал на процессиях, величественной музыке, изысканной литургии, так что они с ректором находились по разные стороны баррикад. И в этом отношении Дороти была на стороне отца. Воспитанная в духе сравнительно бесстрастного англиканства, она смущалась и побаивалась всякой «ритуальности».

– Полный вздор! – повторил Виктор. – Процессия – это же так здорово! Вдоль по проходу, из церкви через западную дверь, в церковь через южную; позади певчие со свечами, впереди бойскауты с хоругвью. Просто загляденье.

И он пропел по нотам, слабым, но мелодичным тенором:

*«Славься, день торжественный, день благословенный, свято чтимый во веки веков!»*

– Будь моя воля, – добавил он, – у меня бы еще пара мальчиков раскачивали разом первоклассные кадила.

– Да, но ты же знаешь, как отец не одобряет такого рода вещи. Особенно если это касается Девы Марии. Он говорит, это все «римская лихорадка», от которой люди начинают креститься и становиться на колени, когда надо и не надо, и бог знает что еще. Помнишь, что было в сочельник?

В прошлом году Виктор взял на себя смелость выбрать один из гимнов для сочельника, под номером 642, с припевом: «Радуйся, Мария, радуйся, Мария, радуйся, Мария, благодатная!» Ректор с трудом стерпел подобный папизм. Под конец первого куплета он демонстративно отложил свой служебник, развернулся у себя на кафедре и обвел паству таким суровым взглядом, что отдельные певчие оробели и умолкли. Потом он говорил, что просторечное блянье «Радыся, Мария! Радыся, Мария!» заставляло его чувствовать себя в дешевой пивнушке, вроде «Пса и бутылки».

– Какой вздор! – сказал Виктор злобно. – Твой отец вечно портит дело, когда я пытаюсь вдохнуть жизнь в службу. Ни ладан жечь не позволяет, ни достойную музыку, ни приличное облачение – ничего. А что в результате? Мы не можем заполнить прихожанами и четверть церкви, даже на Пасху. Оглядишься воскресным утром в церкви – не увидишь никого, кроме мальчиков и девочек-скаутов и нескольких старушек.

– Знаю. Просто кошмар, – согласилась Дороти, пришивая пуговицу. – Кажется, что ни делай, все без толку – мы просто не можем заставить людей идти в церковь. Хотя бы приходят венчаться и на похороны. Но я не думаю, что паства поредела за прошедший год. На Пасхальной службе было почти двести человек.

---

<sup>36</sup> *Лат.* Beata Virgo Maria – Пресвятая Дева Мария.

– Двести! А надо бы две тысячи. Таково население этого городка. Беда в том, что три четверти горожан за всю жизнь и близко не подходят к церкви. Церковь потеряла над ними всякую власть. Они и знать о ней не знают. А почему? Вот о чем я. Почему?

– Полагаю, все дело в науке и свободомыслии и иже с ними, – сказала Дороти несколько наставительно, повторяя за отцом.

Это замечание нарушило ход мысли Виктора. Он был готов сказать, что паства Св. Этельстана редет потому, что службы невыносимо скучны; но ненавистные слова «наука» и «свободомыслие» заставили его свернуть на другую и даже еще более проторенную дорожку.

– Конечно, дело в так называемом *свободомыслии*! – воскликнул он и снова принялся мерить шагами помещение. – Это все гады-атеисты, вроде Бертрана Рассела<sup>37</sup> и Джулиана Хаксли<sup>38</sup>, и всей этой шайки. Но что губит церковь, так это наше молчание – вместо того чтобы дать им хороший ответ и показать, что они дураки и лжецы, мы сидим и молчим в тряпочку, пока они занимаются своей нечестивой атеистической пропагандой. Во всем, конечно, виноваты епископы (как всякий англикатолик, Виктор на дух не переносил епископов). Все они модернисты и карьеристы. Боже правый! – воскликнул он с воодушевлением. – Не читала мое письмо в «Чарч таймс»<sup>39</sup> на прошлой неделе?

– Нет, боюсь, не читала, – сказала Дороти, прилаживая очередную пуговицу. – О чем там?

– В общем, о епископах-модернистах и всяком таком. Я задал хорошую взбучку старику Барнсу<sup>40</sup>.

Едва ли проходила неделя, чтобы Виктор не написал письмо в «Чарч таймс». Он был в гуще любой полемики и на авансцене всякой схватки с модернистами и атеистами. Дважды он вступал в перепалку с доктором Мэйджором<sup>41</sup>, писал язвительные письма декану Инджу<sup>42</sup> и епископу Бирмингема и даже не побоялся бросить вызов самому Расселу, но злодей Рассел не удостоил его ответом. Дороти, по правде говоря, очень редко читала «Чарч таймс», поскольку ректор выходил из себя, если видел дома эту газету. Сам он выписывал еженедельную «Хай-чарчмэнс-газет»<sup>43</sup> – изысканный, крайне консервативный анахронизм для скромного круга избранных.

– Ох же гад этот Рассел! – сказал Виктор с досадой, глубоко засунув руки в карманы. – У меня прямо кровь от него закипает!

– Это тот, который такой умный математик или кто-то вроде? – сказала Дороти, отрезая нитку.

– Ну, признаю, он, конечно, довольно умен в своей области, – согласился Виктор хмуро. – Но при чем здесь это? Если кто-то смыслит в цифрах, это не значит, что ему можно... в общем, ладно! Вернемся к тому, что я говорил. Почему мы не можем набрать достаточно прихожан в эту церковь? Да потому, что наши службы такие скучные и бездушные – вот почему. Люди хотят *богослужения* — подлинной католической обрядовости подлинной католической церкви, к которой мы принадлежим. А мы им этого не даем. Все, что мы им даем, – это старую протестантскую тарабарщину, а протестантизм давно почил в бозе, и все это знают.

---

<sup>37</sup> Бертран Артур Уильям Рассел (1872–1970) – английский философ, логик, математик и общественный деятель.

<sup>38</sup> Джулиан Сорелл Хаксли (1887–1975) – английский биолог, эволюционист и гуманист, политик; брат писателя Олдоса Хаксли.

<sup>39</sup> The Church Times (англ.) (букв.: «Церковные времена») – независимая англиканская еженедельная газета, основанная в 1863 г.

<sup>40</sup> Эрнест Уильям Барнс (1874–1953) – английский математик, впоследствии теолог и епископ Бирмингема.

<sup>41</sup> Ральф Герман Мэйджор (1884–1970) – американский доктор медицины, пользовавшийся большим авторитетом по обе стороны Атлантики, автор научно-популярных и исторических книг.

<sup>42</sup> Уильям Ральф Индж (1860–1954) – английский богослов и публицист, англиканский священник и декан собора Св. Павла; трижды выдвигался на Нобелевскую премию по литературе.

<sup>43</sup> High Churchman's Gazette (англ.) (букв.: «Газета высокой церкви»).

– Неправда! – сказала Дороти довольно резко, ставя на место третью пуговицу. – Ты же знаешь, мы не протестанты. Отец всегда говорит, что англиканская церковь – это церковь католическая, он столько проповедей прочитал об апостольской преемственности. Вот поэтому лорд Покторн и прочие не приходят к нам. Только отец не вступает в англокатолическое движение, потому что считает, что они помешаны на ритуальности ради самой ритуальности. И я с ним согласна.

– Ой, я не говорю, что твой отец не всецело прав по части доктрины – всецело. Но если он считает, что мы – католическая церковь, почему не проводит приличные католические службы? Просто досада берет, что нам хотя бы *иногда* нельзя воскурять фимиам. А его понятия об облачении – позволь, скажу начистоту – просто ужасны. На Пасху он надел готическую ризу с современным итальянским шнурованным подризником. Что за вздор! Это как носить цилиндр с коричневыми башмаками.

– Ну, я не придаю такого значения облачению, – сказала Дороти. – Я считаю, значение имеет дух священника, а не его одежда.

– Ты говоришь как первометодисты! – воскликнул Виктор в возмущении. – Конечно, облачения важны! Откуда возьмется чувство богослужения, если мы не создадим должного настроения? В общем, если хочешь увидеть, каким *бывает* подлинное католическое богослужение, загляни в Св. Ведекинда в Миллборо! Боже правый, вот кто знает в этом толк! Образа Богородицы, сдержанность причастия – что ни возьми. К ним три раза кенситисты<sup>44</sup> приходили, а епископа они ни во что не ставят.

– Ой, терпеть не могу, как все устроено в Св. Ведекинде! – сказала Дороти. – До того *возвысились*. Алтаря почти не видно из-за фимиама. Я считаю, таким нужно идти к римокатоликам и не выдумывать.

– Дорогая моя Дороти, тебе бы надо быть нонконформисткой. Я серьезно. Плимутским братом, или сестрой, или как их там называют. Твой любимый гимн наверняка номер 567: «О, Господь мой, страх берет, как же ты высок!»

– А твой – 231: «За ночь шатер свой передвину на поприще ближе к Риму!» – парировала Дороти, обматывая нить вокруг последней пуговицы.

Спор продолжался несколько минут, пока Дороти украшала «бобровую шапку галантного кавалера» (это была ее старая черная фетровая шляпа, в которой она ходила в школу) плюмажем и лентами. Всякий раз, как они с Виктором оставались вдвоем, между ними вспыхивал спор по вопросу «ритуальности». По мнению Дороти, Виктор, дай ему волю, мог вполне «переметнуться в Рим», и, судя по всему, была права. Но Виктор еще не осознал своей вероятной судьбы. На данный момент его мировоззренческий горизонт ограничивался лихорадкой англокатолического движения, с его непрерывной борьбой на трех фронтах: справа напирали протестанты, слева – модернисты, а сзади, увы и ах, римокатолики, так и норовившие пнуть тебя под зад. Виктор не представлял для себя большего свершения, чем устроить взбучку доктору Мэйджору в «Чарч таймс». Но, при всей его клерикальности, в нем не было ни грана подлинной набожности. По существу, религия, со всеми ее противоречиями, прельщала его как игра – самая захватывающая игра из всех, ведь она никогда не кончается и разрешается легкий мухлеж.

– Слава богу, с этим – всё! – сказала Дороти, покрутив «бобровую шапку» на руке и положив на стол. – Ох, нелегкая, сколько же всего надо еще переделать! Хотела бы я выбросить из головы эти паршивые ботфорты. Сколько времени, Виктор?

– Почти без пяти час.

---

<sup>44</sup> Джон Кенсит (1853–1902) – английский религиозный деятель, боровшийся против англокатолических тенденций в англиканской церкви.

– Пресвятые угодники! Я должна бежать. Нужно сделать три омлета. Не смею доверить их Эллен. И да, Виктор! У тебя найдется что-нибудь для нашей распродажи? Если у тебя есть старые брюки, которые ты мог бы нам отдать, это было бы лучше всего, потому что брюки мы всегда продадим.

– Брюки? Нет. Но я скажу, что у меня есть. У меня есть «Путешествие пилигрима» и «Книга мучеников» Фокса, от которых я хочу избавиться уже не первый год. Протестантская макулатура! Старая тетка, раскольница, дала мне. Тебе не надоело все это... это шаромыжничество? То есть если бы мы только проводили приличные католические службы, собирающие приличную паству, ты же понимаешь, нам бы не понадобилось...

– Это будет прекрасно, – сказала Дороти. – Мы всегда ставим книжный киоск – берем по пенни за книгу, и почти все расходятся. Виктор, эта распродажа просто *должна* стать успешной! Я рассчитываю, что мисс Мэйфилл даст нам что-нибудь по-настоящему *хорошее*. На что я особенно надеюсь, это на ее старинный китайский чайный сервиз, такой красивый, и мы сможем выручить за него фунтов пять, не меньше. Я все утро специально молилась об этом.

– Да? – сказал Виктор несколько скептически.

Как и Проггетт несколько часов назад, он смутился при слове «молитва». Он готов был дни напролет говорить о смысле ритуалов, но упоминание личной молитвы казалось ему чем-то недостойным.

– Не забудь спросить отца о процессии, – сказал он, возвращаясь к более привычной теме.

– Хорошо, я его спрошу. Но ты же его знаешь. Он только вспылит и скажет, это всё римская лихорадка.

– Ой, осточертело! – сказал Виктор, который, в отличие от Дороти, не налагал на себя епитимий за сквернословие.

Дороти поспешила на кухню, обнаружила, что у нее всего пять яиц на троих, и решила приготовить один большой омлет вместо трех маленьких и заправить его холодной вареной картошкой, оставшейся со вчера. Наспех помолвившись об успехе омлета (ведь омлеты так и норовят разломиться, когда вынимаешь их из духовки), она принялась взбивать яйца. Тем временем Виктор удалялся от дома ректора, думая о процессии и мыча с легкой грустью мотив «Славься, день торжественный», и разминул с нечестивого вида слугой мисс Мэйфилл, который нес два ночных горшка без ручек, пожалованные старухой на благотворительную распродажу.

## 6

Шел одиннадцатый час. За это время произошло немало событий, впрочем, ничем особенно не выделявшихся из повседневного круга забот, заполнявших дни и вечера Дороти. Теперь же она, согласно данному обещанию, была в гостях у мистера Уорбертона и пыталась отстоять свою позицию в одном запутанном споре, в которые тот обожал ее втягивать.

Они говорили – в самом деле, о чем же еще было им говорить – о религиозной вере.

– Дорогая моя Дороти, – обращался к ней мистер Уорбертон, прохаживаясь по комнате, помахивая бразильской сигарой и держа другую руку в кармане пиджака, – вы ведь не будете всерьез настаивать, что в вашем возрасте – в двадцать семь, полагаю – и при вашем уме вы придерживаетесь своих религиозных верований более-менее *in toto*<sup>45</sup>?

– Конечно придерживаюсь. И вы это знаете.

– Ой, ладно вам! Во все это надувательство? Во все небылицы, услышанные на коленях у мамы, – вы же не станете мне притворяться, что все еще верите во все это? Ну конечно нет! Это

---

<sup>45</sup> Лат. В полном объеме.

невозможно! Вы боитесь сознаться, вот и все. Но здесь вы можете не беспокоиться об этом, вы же знаете. Нас не услышит жена окружного декана, а я вас не выдам.

– Не знаю, что вы имеете в виду под «всеми этими *небылицами*», – начала Дороти, садясь ровнее и чувствуя себя задетой.

– Что ж, давайте на примере. Что-нибудь особенно завиральное – ад, к примеру. Вы верите в ад? Когда я говорю, *верите*, имейте в виду, я не спрашиваю, верите ли вы в него в некоем отвлеченном, метафорическом смысле, как эти епископы-модернисты, по поводу которых так распаляется Виктор Стоун. Я имею в виду, верите ли вы в него буквально? Вы верите в ад в том же смысле, как верите в Австралию?

– Да, конечно верю, – сказала Дороти и даже попыталась объяснить ему, что существование ада гораздо более реально и постоянно, чем существование Австралии.

– Хм, – произнес мистер Уорбертон, не особо впечатленный. – По-своему, конечно, весьма разумно. Но, что всегда внушало мне подозрения насчет вас, религиозных людей, это то, с каким чертовским хладнокровием вы исповедуете свои верования. Это указывает, самое меньшее, на скудость воображения. Вот он, я – неверующий богохульник – по уши как минимум в шести из Семи Смертных и, очевидно, обречен на вечные мучения. Как знать, возможно, в течение часа я уже буду жариться на адской кухне. А вы между тем сидите тут и говорите со мной так спокойно, как будто мне ничего не грозит. Так вот, если бы меня поразил всего-навсего рак или проказа, или еще какой телесный недуг, вы бы всерьез расстроились – по крайней мере, мне нравится тешить себя этой мыслью. А тут, когда я собираюсь корчиться на раскаленной сковородке целую вечность, вас это, похоже, нимало не волнует.

– Я никогда не говорила, что *вы* попадете в ад, – сказала Дороти с неловким чувством.

Ей бы хотелось направить разговор в другое русло. Дело в том (хотя она не собиралась признаваться ему в этом), что тема, поднятая мистером Уорбертоном, беспокоила и ее саму. Она действительно верила в ад, но никогда не могла убедить себя, что кто-то на самом деле туда попадает. Она верила, что ад существует, но что он пуст. Впрочем, она сомневалась в ортодоксальности такого верования, а потому предпочитала помалкивать о нем.

– Никогда нельзя знать точно, что *кто-то* попадет в ад, – сказала она более твердо, чувствуя, что хотя бы в этом может быть уверена.

– Как?! – сказал мистер Уорбертон, застыв в показном изумлении. – Уж не хотите ли вы сказать, что для меня еще есть какая-то надежда?

– Конечно есть. Это только кальвинисты и им подобные, верящие в предопределенность, считают, будто вас в любом случае ждет ад, покаетесь вы или нет. Вы ведь не думаете, что англиканская церковь имеет с этим что-то общее?

– Полагаю, у меня всегда есть шанс на оправдательный приговор в силу беспросветного невежества, – сказал мистер Уорбертон задумчиво; а затем более уверенно: – А знаете, Дороти, у меня такое, как бы сказать, чувство, что даже сейчас, зная меня два года, вы все еще не отказались от идеи обратить меня. Потерянная овца, заклеянная Святым Духом на краю геенны огненной, и все такое. Полагаю, вы до сих пор надеетесь, вопреки всему, что я могу в любой день прозреть и явиться к вам на Святое Причастие, в семь утра, холодным, как у черта за пазухой, зимним утром. А?

– Ну... – сказала Дороти, снова почувствовав себя неловко.

Она и вправду питала подобную надежду в отношении мистера Уорбертона, хотя и понимала, что из него вряд ли выйдет хороший христианин. Но такова была ее натура – при виде атеиста она не могла не пытаться направить его на путь истинный. Сколько часов за всю свою жизнь она провела в чистосердечных спорах с темными деревенскими безбожниками, не имевшими ни единого веского довода в пользу своего неверия!

– Да, – признала она наконец.

Ей не хотелось это признавать, но еще меньше хотелось лукавить.

Мистер Уорбертон радостно рассмеялся.

– Вы полны надежд, – сказал он. – Но вы, часом, не боитесь, что это я обращаю *вас*? Как там сказал поэт: «Укушенный поправился, собаке смерть пришла»<sup>46</sup>.

На это Дороти лишь улыбнулась.

«Не показывай, что он тебя смутил» – такова была ее всегдашняя максима в разговоре с мистером Уорбертоном.

В подобных спорах, не приводивших ни к каким конкретным результатам, незаметно прошел час, и могла бы пройти вся ночь, будь на то желание Дороти; что до мистера Уорбертона, он обожал поддразнивать ее насчет ее религиозности. Обладая коварным умом, столь свойственным атеистам, он нередко загонял ее в логический тупик, хотя она *чувствовала*, что права. Они находились – гостя сидела в кресле, а хозяин стоял – в просторной уютной комнате с видом на лужайку, залитую лунным светом; мистер Уорбертон называл эту комнату своей «студией», хотя сложно было представить, чтобы он занимался здесь какой-то творческой деятельностью. К большому разочарованию Дороти, прославленный мистер Бьюли так и не появился. В действительности ни мистера Бьюли, ни его жены, ни романа, озаглавленного «Рыбешки и девчушки», не существовало. Мистер Уорбертон выдумал все это на ходу, лишь бы как-то заманить к себе Дороти, прекрасно понимая, что она откажется прийти к нему *tête-à-tête*<sup>47</sup>. Дороти стало не по себе, когда она поняла, что других гостей не предвидится. Ей подумалось (точнее сказать, стало ясно), что разумней будет сразу откланяться; но она осталась главным образом потому, что ужасно устала, а кожаное кресло, в которое усадил ее мистер Уорбертон, было до того удобным, что она не смогла себя заставить снова выйти на улицу. Теперь же в ней проснулась осмотрительность. Ей *не подобало* засиживаться допоздна в этом доме – люди станут судачить, если узнают. К тому же ее ждала еще куча дел, которыми она пренебрегала, находясь здесь. Дороти совсем не привыкла к праздности, поэтому даже час, проведенный за пустыми разговорами, казался ей греховным занятием.

Сделав над собой усилие, она выпрямилась в предательски удобном кресле.

– Я думаю, мне уже пора домой, с вашего позволения, – сказала она.

– Говоря о беспросветном невежестве, – продолжал мистер Уорбертон, пропустив слова Дороти мимо ушей, – не помню, рассказывал ли вам, как однажды, когда я стоял у паба «Край света» в Челси, ожидая такси, ко мне подошла девчурка из Армии спасения, страшная, как чертенок, и говорит – с бухты-барахты, как они умеют: «Что вы скажете на Страшном суде?» Я сказал: «Сохраняю право на защиту». Ловко, а, как считаете?

Дороти промолчала. Совесть нашла новый, безотказный способ уколоть ее – она вспомнила о паршивых несделанных ботфортах, точнее, о том, что хотя бы один из них должна сделать сегодня. Но она так кошмарно устала. Прошедший день совершенно вымотал ее: после того как она одолела порядка десяти миль по жаре на велосипеде, развозя приходской журнал, она отправилась на чаепитие в «Союз матерей», в душевой, обшитой деревом комнатке в приходском доме. Матери собирались на чай каждую среду и занимались благотворительным шитьем, а Дороти тем временем читала им. (В настоящее время она читала «Девушку из Лимберлоста» Джин Страттон Портер<sup>48</sup>.) Эта обязанность почти всегда доставалась ей, поскольку численность ответственных прихожанок (церковных клуш, как их называли), бравшихся за самую грязную работу, сократилась в Найп-Хилле до четырех-пяти. Единственной помощницей, на которую Дороти могла более-менее рассчитывать, была мисс Фут, высокая, отчаянная дева тридцати пяти лет с кроличьим лицом, желавшая приносить пользу, но вечно куда-то спешившая и что-то ронявшая. Мистер Уорбертон не раз говорил, что она напоминает ему комету:

---

<sup>46</sup> Отсылка к «Элегии на смерть бешеной собаки» Оливера Голдсмита.

<sup>47</sup> Один на один.

<sup>48</sup> Джин Страттон Портер (1863–1924) – популярная американская писательница, журналистка, натуралистка и фотограф.

«несуразное тупоносое создание, несущееся по кривой орбите и вечно не в ладах со временем». Мисс Фут можно было доверить украшение церкви, но не «Союз матерей» или «Воскресную школу», поскольку, несмотря на все ее рвение, ортодоксальность ее веры вызывала сомнения. Как-то раз она призналась Дороти, что чувствует себя ближе всего к Богу под синим куполом небес. После чая Дороти поспешила в церковь, обновить цветы на алтаре, затем села печатать отцовскую проповедь (машинка ее, сделанная еще в прошлом веке, дышала на ладан и могла выдавать не больше восьми сотен слов в час<sup>49</sup>), а после ужина пропалывала грядки горошка, пока не опустились сумерки, а спина не стала разламываться. Короче говоря, этот день выжал из нее все соки.

– Мне *правда* пора домой, – повторила она более твердо. – Уверена, уже страх как поздно.

– Домой? – сказал мистер Уорбертон. – Чушь! Вечер только начался.

Он снова заходил по комнате, отбросив сигару и убрав руки в карманы пиджака. Мысли Дороти вернулись к несносным ботфортам. Она вдруг решила, что сделает не один, а два ботфорта, чтобы наказать себя за потерянный час. Она уже стала представлять, как нарежет полоски оберточной бумаги для подъема, когда заметила, что мистер Уорбертон застыл у нее за спиной.

– Не знаете, который час? – сказала она.

– Смею сказать, сейчас должно быть пол-одиннадцатого. Но такие люди, как мы с вами, не говорят на столь вульгарные темы, как время.

– Если уже пол-одиннадцатого, тогда мне и вправду пора, – сказала Дороти. – Мне еще надо переделать уйму работы, прежде чем спать.

– Уйму работы! Так поздно? Не может быть!

– Очень даже может. Мне нужно сделать пару ботфоров.

– Вам нужно сделать пару *чего*? – сказал мистер Уорбертон.

– Ботфоров. Для пьесы, которую играют школьники. Мы делаем костюмы из оберточной бумаги с клеем.

– Оберточной бумаги с клеем! Боже правый! – пробормотал мистер Уорбертон, незаметно приближаясь к Дороти со спины. – Что за жизнь у вас! Возиться с оберточной бумагой и клеем среди ночи! Должен сказать, иной раз я нет-нет да подумаю: хорошо, что я не дочь священника.

– Я думаю... – начала Дороти.

Но в этот момент мистер Уорбертон, стоявший у нее за спиной, мягко положил руки ей на плечи. Дороти тут же попыталась вывернуться и встать, но мистер Уорбертон усадил ее обратно.

– Не дергайтесь, – сказал он спокойно.

– Пустите! – воскликнула Дороти.

Мистер Уорбертон нежно погладил ее по плечу. Этот жест заключал в себе такую откровенность, такую чувственность; это было неспешное, оценивающее касание мужчины, для которого женское тело представляет собой что-то вроде сочного вкусного мяса.

– У вас невероятно красивые руки, – сказал мистер Уорбертон. – Не пойму, как вы умудрились до сих пор остаться незамужней?

– Пустите сейчас же! – повторила Дороти, снова попробовав вывернуться.

– А мне совсем не хочется вас отпускать, – возразил мистер Уорбертон.

– *Пожалуйста*, не надо гладить мне руку! Мне это неприятно!

– Какое вы престранное дитя! Почему вам это неприятно?

– Говорю же вам, неприятно!

---

<sup>49</sup> Нужно иметь в виду, что большинство английских слов значительно короче русских.

– Только не надо оборачиваться, – сказал мистер Уорбертон вальяжно. – Вы, похоже, не сознаете, какой тонкий маневр я проделал, зайдя к вам со спины. Если вы обернетесь, то увидите, что я гожусь вам в отцы и к тому же прискорбно облысел. Но, если вы спокойно посидите, не глядя на меня, вы сможете представлять меня Айвором Новелло<sup>50</sup>.

Дороти скосила глаза на руку, гладившую ее, – крупную, розовую, явно мужскую руку, с толстыми пальцами и золотистыми волосками на тыльной стороне. Она очень побледнела; обычное раздражение на ее лице сменилось отвращением и ужасом. Отчаянным усилием она вырвалась, встала с кресла и повернулась лицом к мистеру Уорбертону.

– *Говорю же*, не надо так делать! – сказала она сердито и жалобно.

– Да что с вами такое? – сказал мистер Уорбертон.

Он распрямился и стоял как ни в чем не бывало, глядя на нее в легком недоумении. Лицо ее изменилось. Она не просто побледнела; в глазах у нее обозначилась отстраненность с примесью страха, словно бы на миг она забыла, кто он такой, и видела перед собой незнакомца. Он догадался, что обидел ее каким-то необъяснимым для него образом, и чувствовал, что ей не хочется ничего объяснять ему.

– Что с вами такое? – повторил он.

– *Почему* вам надо делать это каждый раз, как мы встречаемся?

– «Каждый раз, как мы встречаемся» – это сильно сказано, – парировал мистер Уорбертон. – Мне крайне редко выпадает такая возможность. Но если вам правда-правда неприятно...

– Конечно неприятно! И вы это знаете!

– Ну что ж! Тогда больше ни слова об этом, – сказал мистер Уорбертон великодушно. – Сядьте, и мы сменим тему.

Стыд был ему неведом. Пожалуй, это составляло его главную особенность. Попытавшись соблазнить ее и получив отпор, он был готов продолжать вести светскую беседу, словно бы ничего такого не случилось.

– Я сейчас же иду домой, – сказала Дороти. – Больше мне нельзя здесь оставаться.

– Ой, чушь! Сядьте и забудьте. Будем говорить о моральной теологии, или церковной архитектуре, или о кулинарных курсах для девочек-скаутов – о чем пожелаете. Подумайте, как одиноко мне будет, если вы уйдете домой в такой час.

Но Дороти настаивала на своем, и они стали спорить. Даже если бы он не имел намерения соблазнить ее (а через несколько минут он бы предпринял новую попытку, несмотря на любые обещания), мистер Уорбертон уговаривал бы ее остаться, ведь, как и все праздные люди, испытывал ужас перед ночью и не имел ни малейшего понятия о ценности времени. Дай ему волю, и он заболтает тебя до трех-четырех утра. Даже когда Дороти удалось выскользнуть из его дома, он пошел за ней по дорожке в лунном свете, продолжая разглагольствовать и шутить в своей непринужденной манере, так что она никак не могла на него сердиться.

– Завтра первым делом отчалию, – сказал он, когда они дошли до ворот. – Думаю взять машину до города и подобрать там ребяташек – *бастардов* моих, знаете, – и на другой день отчалим во Францию. Не уверен, куда мы двинемся оттуда; в Восточную Европу, полагаю. Прага, Вена, Бухарест.

– Очень мило, – сказала Дороти.

Мистер Уорбертон с проворством, удивительным для такого крупного мужчины, вклинился между воротами и Дороти.

– Я буду отсутствовать самое меньшее полгода, – сказал он. – И мне, конечно, можно не спрашивать перед столь длительной разлукой, хотите ли вы поцеловать меня на прощание?

---

<sup>50</sup> Айвор Новелло (1893–1951) – популярный английский композитор, певец и актер.



Не успела она пискнуть, как он приобнял ее и привлек к себе. Она отпрянула, но поздно; он поцеловал ее в щеку – собирался в губы, но она успела отвернуться. Она отчаянно забилась в его объятиях, но он крепко держал ее.

– Ой, пустите! – воскликнула она. – *Пустите же!*

– Кажется, я уже говорил, – сказал мистер Уорбертон, прижимая ее к себе, – что мне совсем не хочется вас отпускать.

– Но мы стоим прямо под окном миссис Сэмприлл! Она совершенно точно увидит нас!

– О господи! Вы правы! – сказал мистер Уорбертон. – Я забылся.

Этот довод подействовал на него как никакой другой, и он отпустил ее. Она тут же зашла за ворота, оставив мистера Уорбертона по ту сторону. А он тем временем оглядывал окна миссис Сэмприлл.

– Нигде ни огонька, – сказал он наконец. – У нас все шансы, что эта клюшка нас не видела.

– Всего хорошего, – сказала Дороти коротко. – Теперь мне *правда* пора. Передавайте привет детям.

С этими словами она пошла прочь быстрым шагом, разве что не бегом, чтобы поскорее скрыться с его глаз, пока он не предпринял новую попытку поцеловать ее.

Через несколько шагов она слышала характерный стук оконной рамы, со стороны дома миссис Сэмприлл. Неужели она все-таки следила за ними? Ну, *еще бы* (размышляла Дороти), конечно, следила! Как же иначе? Мыслимо ли, чтобы миссис Сэмприлл пропустила такую сцену. И если она *все видела*, можно было не сомневаться, что уже завтра утром эта история облетит весь городок, с самыми яркими подробностями. Но эта мысль, при всей своей досадности, ненадолго задержалась в уме Дороти, спешившей домой.

Пройдя некоторое расстояние, она остановилась, достала платок и стала тереть щеку в том месте, куда мистер Уорбертон поцеловал ее. Она терла так рьяно, что щека покраснела. Только полностью стерев воображаемое пятно, оставленное его губами, она пошла дальше.

Такой знак внимания с его стороны расстроил ее. Даже сейчас у нее неприятно трепыхалось сердце. «ТЕРПЕТЬ такого не могу!» – повторила она про себя несколько раз. И это, к сожалению, была чистая правда; она действительно терпеть не могла мужской ласки. Мужские объятия и поцелуи – ощущение тяжелых мужских рук на себе и грубых мужских губ на своих губах – вызывали в ней ужас и отвращение. Даже думать о таком было ей противно. Этот своеобразный секрет, своеобразный неизлечимый изъян сопровождал ее по жизни.

«Почему меня никак не оставят *в покое*?!» – подумала она, чуть сбавив шаг (она нередко задавалась этим вопросом). – Ну, почему?!»

Дело в том, что в других отношениях мужчины вовсе не вызывали в ней неприязни. Напротив, женской компании она предпочитала мужскую. Отчасти ее симпатия к мистеру Уорбертону объяснялась именно тем, что он был мужчиной, наделенным легкостью и непринужденностью, редко свойственной женщинам. Но почему эти мужчины никак не оставят ее *в покое*? Почему им вечно нужно целовать ее и тискать? Мужчина, посмеявшийся поцеловать ее, внушал ей страх – да, страх и гадливость, словно некий крупный, шерстистый зверь, трущийся о нее, донельзя ласковый, но в любой момент готовый подчинить ее своей воле. Не говоря о том, что все их поцелуи и прочие нежности всегда намекали на дальнейшие мерзости (на «все это», как она говорила), одна мысль о которых заставляла ее зажмуриться.

Она, конечно, вызывала – и больше, чем бы ей того хотелось, – определенный интерес у мужчин. Она была вполне хорошенькой и вместе с тем вполне обыкновенной, чтобы мужчины охотней всего искали ее внимания. Поскольку мужчина, желающий поразвлечься, обычно выбирает *не самую* хорошенькую девушку. Хорошенькие девушки (так думают мужчины) слишком избалованы, а значит, привередливы; а девушки попроще – это легкая добыча. И даже если ты дочь священника, даже если живешь в таком городке, как Найп-Хилл, и почти все время занята приходской работой, тебе все равно не избежать мужского внимания. Дороти

давно привыкла к этому – ко всем этим упитанным мужчинам средних лет, с маслянистыми, ищущими взглядами, мужчинам, которые замедляли свои машины рядом с ней или, найдя повод познакомиться, уже через десять минут щипали ее за локоть. Самые разные мужчины. Один раз за ней ухаживал даже священник – капеллан епископа, который...

Но беда была в том, что ей отнюдь не становилось легче (напротив, много тяжелее!), когда такой мужчина оказывался подходящим по всем меркам и делал ей достойное предложение. Она невольно вспомнила Фрэнсиса Муна, пять лет назад служившего куратором в церкви Св. Ведекинда, в Миллборо. Милый Фрэнсис! С какой бы радостью она вышла за него, если бы замужество не подразумевало *всего этого*! Он делал ей предложение снова и снова, но она, разумеется, отвечала ему отказом; и он, ну разумеется, так и не узнал причины. Немыслимо сказать такое человеку. В итоге он уехал и всего через год неожиданно умер от пневмонии. Дороти прошептала молитву за упокой его души, на миг забыв, что отец не одобрял заупокойные молитвы, после чего не без усилия отогнала это воспоминание. Ну его! Оно ранило ее в самое сердце.

Замужество было не для нее, она уверилась в этом давным-давно, еще в детстве. Ничто не заставит ее преодолеть ужас перед *всем этим* – от одной мысли о подобных вещах внутри у нее что-то сжималось и холодело. И, по большому счету, она не хотела преодолевать в себе этого. Поскольку, как и все ненормальные, не вполне сознавала свою ненормальность.

Но, несмотря на то что такая фригидность казалась ей естественной и неустранимой, она прекрасно знала ее причину. Она помнила, так ясно, словно это случилось вчера, кошмарную сцену соития между отцом и матерью – ей было не больше девяти, когда она застала их за этим. Увиденное нанесло ей глубокую, тайную рану. А чуть позже ее напугали гравюры в одной старой книге, изображавшие сатиров, гнавшихся за нимфами. Эти рогатые твари в человеческом обличье, мелькавшие в зарослях и за толстыми деревьями, норовя наброситься на незащитных нимф, показались ее детскому воображению бесконечно зловещими. Целый год после этого она боялась заходить одна в лес, чтобы не наткнуться на сатиров. Конечно, со временем она переросла этот страх, но не ощущение, связанное с ним. Сатиры надежно засели у нее в подсознании. Едва ли ей было по силам перерасти это тягостное ощущение безнадежного бегства от некоего иррационального ужаса – от топота копыт в глухом лесу, от поджарых, шерстистых ляжек сатира. Такое чувство не заслуживало, чтобы с ним боролись; от него нельзя было отделаться. Тем более что подобное отношение к половой близости нередко встречалось среди образованных современниц Дороти – ее случай не был уникальным.

Приближаясь к дому, она вновь почувствовала уверенность в своих силах. Мысли о сатирах и мистере Уорбертоне, о Фрэнсисе Муне и ее предрешенной девственности, мелькавшие у нее в уме, вытеснил грозный образ ботфортов. Она вспомнила, что ей предстоит потратить на них, вероятно, пару часов, прежде чем идти спать. В доме было темно. Обойдя его, она на цыпочках вошла через черный ход, боясь разбудить отца, вероятно, уже спавшего.

Пока Дороти шла по темному коридору в теплицу, она вдруг уверилась, что поступила нехорошо, пойдя домой к мистеру Уорбертону. Она решила, что больше никогда не пойдет к нему, даже в том случае, что там точно будет кто-то еще. Более того, завтра она наложит на себя епитимью за то, что пошла к нему. Она зажгла лампу и первым делом нашла свою «памятку», уже написанную на завтра, и приписала заглавную «Е» напротив «завтрака», означавшую епитимью – снова никакого бекона. А затем зажгла примус, на котором стояла банка клея.

Лампа бросала желтый свет на швейную машинку на столе и ворох недоделанной одежды, и Дороти отметила, что это лишь малая часть того, что ее ожидает; а также что она невыносимо, чудовищно устала. Она забыла усталость, едва мистер Уорбертон положил ей руки на плечи, но теперь усталость навалилась на нее с удвоенной силой. И к этому примешивалось что-то еще. Дороти почувствовала себя – почти в буквальном смысле – выжатой. Стоя у стола, она

вдруг испытала странное ощущение, словно в голове у нее совсем пусто, так что на несколько секунд она забыла, зачем вообще пришла в теплицу.

Затем вспомнила: ботфорты, ну конечно! Какой-то презренный бесенок прошептал ей на ухо: «Почему бы не пойти спать и оставить ботфорты до завтра?» Но она тут же прочла молитву об укреплении силы и ущипнула себя.

«Ну-ка, Дороти! Не хандри, пожалуйста. Лука, ix, 62<sup>51</sup>».

Затем, расчистив место на столе, Дороти достала ножницы, карандаш и четыре листа оберточной бумаги и принялась нарезать несносные подъемы для ботфорт, пока закипал клей.

Когда напольные часы в отцовском кабинете пробили полночь, она все еще сидела за работой. Она успела вырезать оба ботфорта и укрепляла их, наклеивая сверху донизу узкие полоски бумаги – это было долгое и муторное занятие. Каждая кость ее ныла, а глаза слипались. Она едва понимала, что делает, но продолжала механически наклеивать полоску за полоской, и каждые пару минут щипала себя, чтобы не поддаваться усыпляющему шипению примуса, на котором булькал клей.

---

<sup>51</sup> «Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Евангелие от Луки, синодальный перевод.

## Часть вторая

### 1

Дороти медленно выплыла из черной бездны сна без сновидений, с ощущением, словно ее вытягивают на свет сквозь огромные толщи тьмы, слоями застилавшие ей разум.

Она лежала с закрытыми глазами. Но постепенно ее зрение привыкло к свету, и веки задрожали и поднялись. Дороти смотрела на улицу – обшарпанную, оживленную улицу с магазинчиками и узкими домами, по которой тянулись туда-сюда люди, трамваи и машины.

Хотя сказать, что она *смотрела*, было бы не совсем верно. Она видела перед собой людей, трамваи и машины, но не различала их как таковые; она даже не различала их как нечто, отдельное от улицы; она их просто *видела*. ВИДЕЛА, как видит животное, отстраненно и почти бессознательно. Уличный шум – приглушенный гомон голосов, гудки клаксонов и трели трамваев, скрежежавших по неровным рельсам, – вливался ей в уши однообразной какофонией. Она не знала слов для всего этого, не знала даже того, что есть какие-то слова, как и того, что всё это происходит в пространстве и времени. Не знала, что у нее есть тело, и вообще, что она есть.

Тем не менее постепенно ее восприятие обострялось. Поток движущихся объектов начал проникать в глубь ее глаз, разделяясь на отдельные образы у нее в уме. Она начала – всё еще бессловесно – наблюдать формы вещей. Мимо проплыла длинная вещь, шевеля под собой четырьмя тонкими вещами, а за ней тянулись угластые вещи на двух кругах. Дороти смотрела, как это плывет мимо нее, и внезапно, как бы помимо ее воли, у нее в уме вспыхнуло слово.

«ЛОШАДЬ».

Слово померкло, но вскоре вернулось в виде целого предложения: «*Это была лошадь*». За «лошадью» последовали другие слова – «дом», «улица», «трамвай», «машина», «велосипед», – и уже через несколько минут Дороти смогла дать имена почти всему, что видела. Найдя слова «мужчина» и «женщина» и поразмыслив над ними, она поняла разницу между одушевленными и неодушевленными вещами, и далее между людьми и лошадьми и, наконец, между мужчинами и женщинами.

И только теперь, научившись заново сознать большинство окружавших ее вещей, она осознала *себя*. А до тех пор она была просто парой глаз, за которыми имелся наблюдательный, но совершенно безличный мозг. Теперь же она с изумлением обнаружила свое собственное, отдельное от всего, уникальное бытие; она смогла *почувствовать* его; словно бы что-то внутри нее восклицало: «Я – это я!» И вместе с тем к ней пришло понимание, что это «я» существовало неизменным с давних пор, хотя она ничего об этом не помнила.

Но это понимание, едва возникнув, принесло ей беспокойство. С самого начала она испытывала ощущение неполноты, какой-то смутной неудовлетворенности. И вот почему: «я – это я», казавшееся ответом, само сделалось вопросом. «Я – это я» незаметно превратилось в «*кто я?*».

*Кто она такая?* Она снова и снова задавалась этим вопросом, понимая, что не имеет ни малейшего представления о том, кто она такая; не считая того, что при виде людей и лошадей, двигавшихся рядом с ней, она понимала, что относится к людям, а не к лошадям. И тогда ее вопрос принял более конкретную форму: «Я мужчина или женщина?» И снова ни чувства, ни память не дали ей ответа. Но затем она невзначай скользнула пальцами по своему телу. С новой ясностью она осознала существование своего тела, того, что оно ее собственное – что это, по существу, и есть она. Она принялась обследовать свое тело руками и обнаружила у себя груди. Стало быть, она была женщиной. Только женщины с грудями. Каким-то образом она знала, не зная, откуда она это знает, что все те женщины, что шли по улице, скрывали под одеждой груди.

И тогда Дороти поняла, что ей нужно обследовать свое тело, начиная с лица, чтобы понять, кто она такая; она стала всерьез пытаться увидеть свое лицо и не сразу поняла, что это невозможно. Опустив взгляд, она увидела черное атласное платье, довольно длинное и поношенное, пару чулок телесного цвета из искусственного шелка, грязных и съехавших, и пару очень потертых атласных туфель на высоком каблуке. Ничто из этого не было ей знакомо. Она рассмотрела свои руки, и они показались ей одновременно знакомыми и незнакомыми. Это были миниатюрные руки, с грубыми и очень грязными ладонями. Вскоре она поняла, что как раз из-за грязи они казались ей незнакомыми. Сами по себе руки выглядели нормальными и правильными, просто она их не узнавала.

Поборов нерешительность, она повернула налево и медленно пошла по тротуару. Неведомым образом, откуда-то из прошлого, к ней пришло новое знание: существование зеркал, их назначение, и то обстоятельство, что зеркала часто встречаются в витринах магазинов. Вскоре она подошла к дешевому ювелирному магазинчику, в витрине которого стояло узкое зеркало, отражавшее под углом лица прохожих. Каким-то безошибочным чутьем она сразу нашла свое отражение среди множества других. Однако она не могла сказать, что узнала себя; она не помнила, чтобы когда-то раньше видела это лицо. Это было молодое женское лицо, худощавое, белесое, с «гусиными лапками» возле глаз и немного испачканное. На голове сидела набекрень вульгарная черная шляпа-колокол, закрывавшая большую часть волос. Дороти не узнавала своего лица, и все же оно не было ей чужим. Она не знала заранее, каким оно окажется, но теперь, увидев его, она осознала, что вполне ожидала чего-то подобного. Это лицо ей подходило. Отвечало чему-то внутри нее.

Отвернувшись от зеркала в витрине, она заметила слова «Шоколад Фрая» на витрине напротив и поняла, что ей известно назначение письменности, а вслед за тем – что она умеет читать. Ее глаза обшарили улицу, выхватывая и осмысляя случайные обрывки надписей: названия магазинов, рекламу, газетные заголовки. В числе прочего ей попались два красно-белых плаката на табачной лавке. Один из них сообщал: «Свежие слухи о дочери ректора», а другой: «Дочь ректора. Уже, вероятно, в Париже». Затем Дороти подняла взгляд и увидела надпись белыми буквами на углу дома: «Нью-Кент-роуд». Эти слова захватили ее внимание. Она догадалась, что это название улицы, на которой она стоит, а также что – снова вспыхнуло у нее в уме неведомое знание – Нью-Кент-роуд находится где-то в Лондоне. Значит, вот где она.

Это открытие вызвало у нее странную дрожь во всем теле. Разум ее наконец пробудился; она осознала – впервые за все это время – странность своего положения, и это ее изумило и напугало. Что все это могло *значить*? Что она здесь делает? Как она сюда попала? Что с ней случилось?

Ответ не заставил себя долго ждать. У нее возникла догадка (и ей показалось, что она прекрасно понимает значение этих слов):

«Ну, конечно! Я потеряла память!»

В это же время ковылявшие мимо двое юнцов и девушка – у юнцов за плечами были несущие холщовые вещмешки – остановились и с любопытством взглянули на Дороти. Помедлив секунду, они двинулись дальше, но снова встали через пять ярдов, под фонарем. Дороти увидела, что они поглядывают на нее и переговариваются. Один юнец – лет двадцати, щуплый румяный брюнет в замызганном щегольском синем костюме и клетчатой кепке – был хорош собой, в задиристой манере кокни. Другой – лет двадцати шести, курносый, коренастый и проворный – отличался чистой розовой кожей и рельефными, точно пара сосисок, губами, открывавшими мощные желтые зубы. Одет он был в откровенные лохмотья, а короткие ярко-рыжие волосы над низким лбом придавали ему поразительное сходство с орангутангом. Девушка – пухлявое простоватое создание – была одета почти как Дороти, до которой долетали обрывки их разговора:

– Мамзель какая-то больная, – сказала девушка.

Рыжий, напевавший мелодичным баритоном «Сонни-боя», прервал песню и сказал:

– Да не. Но на мели как пить дать. Вроде нас.

– В самый раз будет для Нобби<sup>52</sup>, а? – сказал брюнет.

– Я тебе! – взвилась девушка и отвесила ему воображаемый подзатыльник.

Ребята сложили свои пожитки под фонарем и несмело направились к Дороти. Первым шел, послом доброй воли, рыжий, которого, похоже, звали Нобби. Он приблизился к Дороти пружинистой, обезьяньей походкой и улыбнулся так искренне и широко, что невозможно было не улыбнуться в ответ.

– Привет, детка! – сказал он добродушно.

– Привет!

– На мели небось?

– На мели?

– Ну, ветер в карманах?

– Ветер в карманах?

– Приехали! Она – ку-ку, – пробормотала девушка, беря за руку брюнета, как бы норовя увести его.

– Ну, я, собсна, чего, детка: деньжата есть?

– Не знаю.

Троица переглянулась с тревожным видом. Очевидно, они подумали, что Дороти и правда ку-ку. Но тут она засунула руку в карман, обнаружившийся сбоку платья, и нащупала большую монету.

– У меня, похоже, пенни! – сказала она.

– Пенни! – сказал брюнет с издевкой. – Вот богатство привалило!

Дороти достала монету. Это оказались полкроны<sup>53</sup>. На лицах друзей отразилась поразительная перемена. У Нобби отвисла челюсть от восторга; он радостно запрыгал туда-сюда по обезьяньи, а затем остановился и доверительно тронул Дороти за руку.

– Как есть, маллигатони<sup>54</sup>! – сказал он. – Нам блеснула удача, как и тебе, детка, поверь мне. Ты восславила день, когда глянула в нашу сторону. Мы тебя озолотим, ей-же-ей. Теперь смотри сюда, детка: готова стакнуться с нашей троицей?

– Что? – сказала Дороти.

– Я о чем бачу: как насчет войти в долю с Фло, Чарли и мной? Партнеры будем, сечешь? Товарищами, плечом к плечу. Вместе мы сила, врозь – могила. Мы вложим мозги, ты – деньги. Ну как, детка? Ты в игре или вне игры?

– Кончай, Нобби! – вмешалась девушка. – Она ж ни слова не понимает. Не можешь, что ли, культурно с ней говорить?

– Лады, Фло, – сказал Нобби спокойно. – Ты не встревай, переговоры – дело мое. У меня подход к мамзелям, ты не думай. Значит, слухай меня, детка: ты нам имечко свое не скажешь? Как звать тебя, детка?

Дороти чуть было не ляпнула «не знаю», но спохватилась в последний момент. Выбрав одно из полудюжины женских имен, всплывших у нее в уме, она сказала:

– Эллен.

– Эллен. Как есть маллигатони. Не до фамилий, когда на мели. Ну а теперь, Эллен, радость, слухай меня. Мы втроем на хмель решили податься, сечешь...

– На хмель?

---

<sup>52</sup> От *англ.* knob – «башка», то есть башковитый.

<sup>53</sup> Полкроны = 2,5 шиллинга = 30 пенсов.

<sup>54</sup> Маллигатони – индийский острый суп, обычно куриный; в данном случае это просто присказка Нобби.

– Шмель! – вставил брюнет раздраженно, не в силах вынести такую тупость. – Хмель собирать, под Кентом! Чё не ясно?

Его говор и манеры были не в пример грубее, чем у Нобби.

– Ах, ХМЕЛЬ! Для пива?

– Как есть маллигатони! Полный с ней порядок. Ну, детка, я чё грю, мы втроем на хмель решили податься, нам работа обещана, все путем – на ферме Блессингтона<sup>55</sup>, в нижнем Молсворте. Тока наш маллигатони малость жидковат, сечешь? Ну, тоись поистратились мы, так шо приходится на своих двоих – тридцать пять миль пути – и хавку клянчить, и кемарить ночью на природе. А это такой себе маллигатони, когда с нами леди. Но теперь предположим, ты, для примеру, идешь с нами, сечешь? Мы бы сели на трамвай до Бромли за два пенса – итого долой пятнадцать миль, а дальше тока день пути отчапать да ночь покемарить. И можешь собирать в нашу корзину – четверо на корзину самое то – и, если Блессингтон дает два пенса за бушель<sup>56</sup>, ты за неделю легко зашибешь свои десять гирь<sup>57</sup>. Что скажешь, детка? Здесь, в Дыму<sup>58</sup>, ты на двушку с рыжиком<sup>59</sup> не разгуляешься. А войдешь с нами в долю, будет тебе ночлег на месяц и кой-какой навар, а *нам* — рельсы до Бромли, ну и пошамать малость.

Примерно четверть этой речи осталась непонятна Дороти, и она спросила наобум:

– *Пошамать?*

– Ну, червячка заморить. Вижу, детка, *ты* недавно на мели.

– О... так, вы хотите, чтобы я пошла собирать с вами хмель, правильно?

– В точку, Эллен, радость. Ты в игре или вне игры?

– Ну хорошо, – сказала Дороти с готовностью. – Я иду.

Она решилась без всяких опасений. Конечно, будь у нее время обдумать свое положение, она, вероятно, поступила бы иначе; по всей вероятности, она бы пошла в полицейский участок и обратилась за помощью. Это был бы здравый поступок. Однако Нобби с компанией возникли в решающий миг, и Дороти, такой беспомощной, показалось вполне естественным довериться им. К тому же по неведомой ей причине ее обнадежило то, что они направлялись в Кент. Ей подумалось, что как раз в Кент ей и хочется попасть. Никто больше не проявлял дальнейшего любопытства в ее отношении, не задавал неудобных вопросов. Нобби просто сказал:

– Окей. Как есть маллигатони!

И с этими словами спокойно взял у Дороти полкроны и положил себе в карман.

– А то еще посеешь, – пояснил он.

Брюнет – его, похоже, звали Чарли – сказал в своей хмурой, хамоватой манере:

– Давайте уже, по коням! Время за два перевалило. Не хватало еще пропустить ебаный трамвай. Откуда они отходят, Нобби?

– Из Элефанта, – сказал Нобби. – И надо успеть до четырех, а то потом задарма не прокатишься.

– Давайте тогда, нечего рассусоливать. Все будет в ажуре, если докатим до самого Бромли и найдем местечко покемарить в ебучей темноте. Давай уже, Фло.

– Шагомарш! – сказал Нобби, закинув узел на плечо.

Они выдвинулись в путь без дальнейших рассуждений. Дороти, все еще чувствуя себя не в своей тарелке, но гораздо лучше, чем полчаса назад, шла позади Фло и Чарли, общавшихся между собой, не замечая ее. С самого начала они не прониклись к Дороти; охотно присвоив ее полкроны, они не спешили выказывать ей дружеских чувств. Нобби шел впереди, бодро печал-

---

<sup>55</sup> Blessington (англ.) – букв.: «благословенный»; нужно иметь это в виду, учитывая дальнейший ход событий.

<sup>56</sup> Английский бушель = 36,37 л.

<sup>57</sup> Сленговое обозначение шиллинга.

<sup>58</sup> Сленговое название Лондона.

<sup>59</sup> Сленговое обозначение шестипенсовика.

тая шаг, несмотря на внушительную ношу, да еще задорно пел, пародируя известную армейскую песню в такой похабной манере, что единственными печатными словами были:

– ... ..! ... ..! Вот и весь репертуар. ... ..! ... ..! И того же вам!

## 2

Было двадцать девятое августа. Сон сморил Дороти в теплице двадцать первого; из чего следует, что в ее жизни образовался пробел в восемь дней.

Случившееся с ней было не так уж необычно – едва ли проходит неделя, чтобы в газетах не появилось сообщение о чем-то подобном. Человек пропадает из дома, отсутствует несколько дней или недель, а затем обращается в полицию или в больницу, не имея ни малейшего понятия, кто он и откуда. Установить, как он провел прошедшее время, как правило, не представляется возможным; по всей вероятности, он блуждал, не вполне сознавая себя, как во сне или гипнозе, но сохраняя подобие нормальности. В случае Дороти наверняка можно сказать только одно: в какой-то момент она сделалась жертвой ограбления, поскольку лишилась золотого крестика и носила не свою одежду.

Она уже почти пришла в себя, когда к ней обратился Нобби; при должном обращении ее память могла бы восстановиться в течение нескольких дней, если не часов. Для этого потребовалось бы совсем немного: случайная встреча с другом, фотография родного дома, несколько правильных вопросов. Но случилось то, что случилось, и ее разум не получил нужного стимула. Она осталась в промежуточном состоянии только что проснувшегося человека – умственная деятельность была практически в норме, но ее личность скрывалась в тумане.

Естественно, что, едва Дороти связалась с Нобби и компанией, любая попытка самоанализа терпела неудачу. Некогда было присесть и все обдумать – некогда разложить проблему по полочкам и найти решение. В том мире «деклассированных элементов», в который она ненароком попала, никто не мог себе позволить и пяти минут связных размышлений. Дни проходили в непрестанной активности, напоминавшей бредовый сон. В самом деле, большинству людей подобное может привидеться только в кошмаре; однако этот кошмар заполняли не страсти-мордасти, а голод, холод, жара и грязь, а также постоянная усталость. Впоследствии, когда Дороти вспоминала то время, дни и ночи у нее сливались воедино, и она не могла сказать с определенностью, сколько все это продолжалось. Она только помнила, что у нее без конца болели натертые ноги и хотелось есть. Голод и натертые ноги составляли ее самые отчетливые воспоминания о том времени; а еще ночной холод и дурацкое ощущение неряшливости, возникавшее от недосыпа и отсутствия крыши над головой.

Добравшись до Бромли, они «обжили» ужасную, заваленную бумажным мусором свалку, вонявшую отходами нескольких скотобоен, и провели ночь, не давшую отдыха, в высокой влажной траве с краю сквера, укрываясь лишь своей поклажей. Утром они продолжили поход, направившись в сторону хмельников. Дороти уже тогда поняла, что история, рассказанная Нобби – о том, что им была обещана работа, – не соответствовала действительности. Он откровенно признался Дороти, что выдумал это, лишь бы завлечь ее. Единственная их надежда в плане работы состояла в том, чтобы податься в хмельные края и предлагать свои услуги на каждой ферме, пока не найдут, где еще требуются сборщики.

Им предстояло одолеть порядка тридцати пяти миль, если считать по прямой, однако на исходе третьего дня они едва достигли края хмельников. Естественно, что их продвижение замедляла потребность в еде. Если бы не поиски еды, они могли бы одолеть все это расстояние за пару дней, а то и за день. Однако все их передвижения диктовались в первую очередь чувством голода, а приближаются они к хмельникам или удаляются, заботило их постольку-поскольку. Полкроны Дороти растаяли за несколько часов, после чего им оставалось лишь попрошайничать. Но здесь их поджидал подвох. Один бедолага может довольно легко выпро-



сать себе еду на дороге, да и двоим это несложно, но совсем другое дело, когда попрошаек четверо. В таких условиях, чтобы не помереть с голоду, каждому из них приходилось выискивать еду с упорством и целенаправленностью дикого зверя. Еда – вот что занимало все их мысли в течение трех дней, одна лишь еда, раздобыть которую было ох как непросто.

Дни напролет они попрошайничали. Они покрывали огромные расстояния, обходя вдоль и поперек деревню за деревней, и «канючили» перед мясными и бакалейными лавками, как и перед всеми более-менее зажиточными домами, мозолили глаза отдыхающим на пикниках, махали с обочин машинам (ни одна не остановилась) и донимали старых джентльменов слезными рассказами о своих бедствиях, с жалостливой миной на лице. Часто крюк в пять миль не приносил им ничего, кроме корки хлеба или горсти мясных обрезков. Попрошайничали все, не исключая Дороти; она ведь не помнила прошлого, ей не с чем было сравнить свое положение, чтобы устыдиться. Однако, несмотря на все их усилия, они бы протянули ноги, если бы вдобавок не промышляли воровством. В сумерках и спозаранку они прочесывали сады и огороды, воруя яблоки, терн, груши, орехи, позднюю малину и, самое главное, картошку; Нобби считал за грех пройти мимо картофельного поля и не набрать хотя бы карман картошки. Это он в основном воровал, пока остальные стояли на стреме. Нобби был отчаянным вором; он гордился тем, что был готов украсть все, что плохо лежит, и если бы товарищи иной раз не сдерживали его, то все непременно угодили бы в тюрьму за соучастие. Один раз Нобби даже позарился на гуся, но тот разразился таким страшным гоготом, что Чарли с Дороти едва успели оттащить Нобби, когда на пороге дома возник хозяин.

За каждый из тех первых дней они проходили по двадцать – двадцать пять миль. Бродили по выгонам и глухим деревенькам с несусветными названиями, плутали на тропинках, терявшихся в полях, и отлеживались, восстанавливая силы, в сухих канавах, пахших фенхелем и пижмой, проникали в частные лесные уголья и «обживали» рощи, где было вдоволь хвороста для костра и речной воды, чтобы приготовить варево из всего, что удалось добыть, используя в качестве котелков две двухфунтовые банки из-под табака. Бывало, им улыбалась удача, и они пировали первоклассным рагу из бекона (выпрошенного) и цветной капусты (ворованной) или запекали в золе большущие водянистые картошки, а случалось, варили повидло из ворованной малины и жадно его поглощали, обжигая рот. Единственным, в чем они не знали недостатка, был чай. У них могло не быть ни крошки еды, но чай был всегда – крепкий, темный и бодрящий. Такую вещь, как чай, выпросить несложно. «Извините, мэм, не найдется щепотки чаю?» В подобной просьбе едва ли откажут даже черствые кентские кумушки.

Дни были удушающе жаркими, дорога блестела в раскаленном воздухе, и проезжавшие машины вздымали облака колючей пыли. Часто в этих машинах – грузовиках, заваленных мебелью, детьми, собаками и птичьими клетками, – ехали целыми семьями веселые сборщики хмеля. Ночи всегда были холодными. Едва ли в Англии найдется уголок, где после полуночи не пробирает озноб. А все постельные принадлежности наших путников состояли из двух больших вещмешков. Один мешок делили между собой Фло и Чарли, а другой был в распоряжении Дороти; Нобби спал на голой земле. Такой сон при любой погоде – сплошное мучение. Если Дороти ложилась на спину, голова без подушки запрокидывалась, вызывая ломоту в шее; а на боку нестерпимо ломило нижнее бедро. И даже когда, ближе к рассвету, удавалось забыться прерывистым сном, холод пробирал до костей. Одному только Нобби все было нипочем. Он мог спать во влажной траве, как в постели, и его грубая, обезьянья физиономия, с жидкой рыжей порослью на подбородке, похожей на медную проволоку, всегда отличалась здоровым румянцем. Он был из тех рыжих, которые словно светятся изнутри, согревая не только себя, но и воздух вокруг.

Такую жизнь, со всеми ее нелепостями и неудобствами, Дороти принимала без возражений – лишь иногда у нее мелькала смутная мысль, что ее прежняя жизнь, которой она не помнила, как-то отличалась от теперешней. Уже через пару дней она перестала досадовать на свое

незавидное положение. Все невзгоды – грязь, голод и усталость, бесконечные скитания, жаркие пыльные дни и холодные бессонные ночи – она терпела молча. Так или иначе, усталость не давала ей погружаться в раздумья. К вечеру второго дня путники совершенно выбились из сил, только Нобби держался молодцом. Даже гвоздь в башмаке, царапавший ему ногу, не особо его беспокоил. А Дороти порой едва не засыпала на ходу. К тому же ей приходилось нести мешок с ворованной картошкой, поскольку двое мужчин и так несли вещмешки, а Фло отказывалась от любой ноши. Они старались иметь про запас десяток фунтов<sup>60</sup> картошки. Дороти, глядя на Нобби с Чарли, перекинула мешок через плечо, но лямка пилой врезалась ей в плоть, а мешок бил по бедру, натирая кожу, и в итоге растер до крови. Кроме того, ее хлипкие туфли очень быстро расплзлись по швам. На второй день правый каблук отвалился, и Дороти захромала; но Нобби, имевший завидный опыт в таких делах, посоветовал ей оторвать и второй каблук, чтобы обе ноги были в равном положении. И все бы ничего, только при подъеме в гору голени ей скручивала боль, а по пяткам словно лупили железным прутком.

Но Фло и Чарли испытывали еще большие мучения. Бесконечные скитания не столько изматывали их, как угнетали и озлобляли. Раньше они и подумать не могли, чтобы прошагать за день двадцать миль. Оба они были из лондонской бедноты, и, хотя нищенствовали уже не первый месяц, скитаться по большой дороге им еще не приходилось. Чарли не так давно лишился хорошей работы, а Фло выгнали из дома родители, когда она пала жертвой соблазна. Эти двое познакомились с Нобби на Трафальгарской площади и согласились идти с ним на хмель, воображая, что их ждет веселое приключение. Однако, как люди, «севшие на мель» сравнительно недавно, они смотрели свысока на Нобби и Дороти. Они ценили смекалку Нобби и его воровскую удаль, но в социальном плане считали его ниже себя. Что касалось Дороти, они почти не удостаивали ее вниманием после того, как истратили ее полкроны.

Уже на второй день пути Чарли с Фло стали хандрить. Тащились позади, все время ворчали и требовали еды больше остальных. На третий день дорога их доконала. Они открыто стали ныть, что хотят назад в Лондон, и не желали слышать ни про какой хмель; то и дело они приваливались где-нибудь в теньке и жадно поглощали все съестное. После каждого такого привала стоило немалых усилий уговорить их идти дальше.

– Ну же, ребята, – говорил Нобби. – Собирай манатки, Чарли. Пора двигать.

– Ох, я заебался! – отвечал Чарли хмуро.

– Ну, здесь-то нам не место для постоя. Али как? Мы ж хотели быть до ночи в Севеноксе, забыл, что ли?

– Ох, ебал я Севенокс! Что Севенокс, что хуенокс, мне похую.

– Ну и нехуй! Мы ж хотим завтра работу. Али как? А прежде чем искать работу, надо освоиться на фермах.

– Ох, ебал я фермы! Хоть бы сроду не слышал про ебанный хмель! Не гожусь я на такую хуету – бродяжить по большой дороге, как ты. Хватит с меня. По горло, блядь, сыт.

– Если мы так хмель, млять, собираем, – встревала Фло, – я уже, млять, наелась от пуза.

Нобби поделился с Дороти соображением, что Фло с Чарли наверняка «отвалят», если им повезет найти транспорт до Лондона. Самого же Нобби ничто не могло лишить присутствия духа, даже гвоздь, буравивший ему ногу, отчего рванный носок пропитался кровью. На третий день гвоздь обнаглел настолько, что через каждую милю Нобби останавливался, чтобы разобраться с ним.

– ‘Звиняй, детка, – говорил он. – Снова надо подлатать поганое копыто. Умаллигатонить этот гвоздик.

С этими словами он находил круглый камень, засовывал его в башмак и старательно вколачивал гвоздь.

---

<sup>60</sup> 10 фунтов = 4,5 кг.

– Так-то! – восклицал он, ощупывая злосчастное место пальцем. – Уложил сучка в могилу!

Однако эпитафия должна была гласить: «Я еще вернусь». Через четверть часа гвоздь непременно вылезал в том же месте.

Естественно, Нобби подкатывал к Дороти, но, получив отпор, не обиделся. Легкий нрав не позволял ему принимать неудачи слишком серьезно. Он всегда радовался жизни, всегда пел раскатистым баритоном – как правило, одну из трех любимых песен: «Сонни-боя», «Рождество в работном доме» (на мотив «Церкви единый оплот») и «...! Вот и весь перертуар», в бравурной армейской манере. Он был вдовцом двадцати шести лет и успел побывать продавцом газет, карманником, арестантом, солдатом, взломщиком и, наконец, бродягой. Впрочем, он не спешил делиться этими фактами своей биографии, так что они раскрывались лишь по мере общения с ним. Он нередко пересыпал свои разговоры яркими воспоминаниями: как он полгода служил в пехотном полку, пока не получил освобождение из-за травмы глаза, какой отвратной баландой кормили в тюрьме, как он рос в трущобах Дептфорда<sup>61</sup>, как умерла его жена при родах, в восемнадцать лет (ему самому было двадцать), какие дико гибкие дубинки в колонии для малолеток, как глухо бухнул нитроглицерин, выбив дверь сейфа на обувной фабрике, и Нобби взял сто двадцать пять фунтов, которые просадил за три недели.

К вечеру третьего дня путники достигли края хмельников, и им стали встречаться бедолаги, по большей части такие же бродяги, шедшие назад, в Лондон, решив, что здесь им ничего не светит – хмель не уродился, и расценки были грошовые, а все места уже заняли цыгане и «домашние». От этого Фло с Чарли окончательно пали духом, но Нобби, умело сочетая запугивание с убеждением, уговорил их задержаться еще ненадолго.

В деревеньке под названием Уэйл<sup>62</sup> им повстречалась старая ирландка, миссис Макэллигот, только что нанявшаяся на ближайший хмельник. Она выменяла им на яблоки кусок мяса, который недавно «слямзила», и поделилась полезными сведениями о сборе хмеля и местных фермах. Разговор они вели, развалившись на травке напротив хозяйственного магазинчика с газетной доской на стене.

– Вы бы к Чалмерсу подалис, – советовала им миссис Макэллигот грубым дублинским говором. – Энто милей пять отседа. Я слыхала, Чалмерс хочет ишо дюжину сборщиков. Уж он вам даст работу как пит дат, ежли поспешите.

– Пять миль! – проворчал Чарли. – Очуметь! А поближе ничего?

– Ну, тута Норман. Я-то к нему нанялас – с утра выхожу. Но вам к нему нечего и думать. Никого не берет, окромья домашних. Половина хмеля пропадет, а ему и дела нет.

– Что за домашние? – сказал Нобби.

– Ну как, кто в домах живут. Либо тут где рядом, либо кого фермер пустит. Тепер такой закон. Прежде как: придешь на хмел, притулилас в хлеву и горя не знаешь. А тепер либористы, паршивцы, закон приняли, шоб не брат батраков, кого фермер на постой не пустил. Так шо Норман берет тока домашних.

– Это ты, что ли, домашняя?

– Черта лысого! Но Норман не знает. Наплела ему, шо меня тут пустили. По секрету, я в коровнике кемарю. Там ничё так, тока вон и гряз, но утром надо выйти до пяти, шоб скотник не застукал.

– Мы в хмеле не бельмеса не смыслим, – сказал Нобби. – Я его, заразу, увижу – не узнаю. Уж лучше быть старым да опытным на такую работу, а?

– Не бзди! Хмель никакого опыта не требует. Знай себе рви да в корзину кидай. Вот и вес белмес.

---

<sup>61</sup> Дептфорд – район на юго-востоке Лондона на правом берегу Темзы.

<sup>62</sup> Wale (англ.) – «рубец».

Дороти клевала носом, слушая их бессвязную болтовню о хмеле и о какой-то девушке, убежавшей из дома. Фло с Чарли вычитали о ней на газетной доске и оживились, вспомнив о Лондоне с его удобствами. Эта беглянка, пробудившая их интерес, называлась в статье «дочерью ректора».

– Видала, Фло? – сказал Чарли и прочитал заголовок вслух, смакуя каждое слово: – «Тайная любовная жизнь дочери ректора. Поразительные откровения». Ух! Жаль, нет пенни – почитал бы!

– Да? Ну и о чем там?

– Как? Ты не читала? Во всех урнах газеты. Дочь ректора то, дочь ректора се – не без сальных подробностей, ясное дело.

– Она горячая штучка, дочка старого ректора, – сказал Нобби мечтательно, лежа на спине. – Вот бы она здесь была! Уж я бы знал, что с ней делать, ага, я бы ее того.

– Девчонка из дому сбежала, – сказала миссис Макэллигот. – Крутила шашни с одним типом, на двадцать лет старше себя, а тепер пропала, вот и ищут ее по всем весям.

– Среди ночи смылась, на машине, в одной ночнушке, – сказал Чарли с чувством. – Деревня на ушах стоит.

– Ходят слухи, – добавила миссис Макэллигот, – он ее увез за границу и продал в энтот... дом терпимости в Париже.

– Говоришь, в одной ночнушке? Видать, мамзель та еще!

За этим могли бы последовать новые подробности, но неожиданно вмешалась Дороти. Предмет их разговора вызвал в ней смутное любопытство. Она услышала незнакомое слово – «ректор». Сев на траве, она спросила Нобби:

– А кто это, ректор?

– Ректор? Ну как, поп-клоп... викарий. Который в церкви проповедует и распевает песнопения, и все такое. Вчера нам один встретился – на зеленом велике, с воротничком вокруг шеи. Священник... пастор. Ну, знаешь.

– А... Да, кажется.

– Священники! – сказала миссис Макэллигот. – Тоже пройдохи, палец в рот не клади. Ну, ест такие.

Дороти мало что поняла из этого объяснения. Слова Нобби отчасти просветили ее, но лишь отчасти. Вся вереница мыслей, вызываемая словами «церковь» и «священник», странным образом размывалась у нее в уме. Она отметила еще один пробел – с ней это случалось периодически – в неведомых знаниях, доставшихся ей из прошлого.

Это была их третья ночь в дороге. В сумерках они проскользнули в рошу, собираясь «покемарить», но чуть за полночь хлынул дождь. Целый час они отчаянно метались в темноте, ища укрытия, и в итоге наткнулись на стог сена, в котором ютились с подветренной стороны, пока не забрезжил рассвет. Фло всю ночь ревела, действуя на нервы остальным, и к утру на нее было жалко смотреть. Ее глупое пухлое лицо, мокрое от дождя и слез, напоминало кусок сала, если можно вообразить сало, перекошенное жалостью к себе. Нобби порылся под живой изгородью и, набрав охапку веток посуше, развел костер и заварил чай, как делал каждое утро. Никакое стихийное бедствие не могло помешать ему заварить чай. В числе его пожитков имелись куски старой шины, которыми он разжигал влажный хворост, а кроме того, он владел искусством, доступным лишь самым бывалым бичам, вскипятить воду на свече.

После такой ночи все были сами не свои, а Фло заявила, что не может больше ступить ни шагу. Чарли тоже расклеился. Так что Дороти с Нобби отправились на ферму Чалмерса вдвоем, условившись встретиться позже с непутевой парочкой и поделиться новостями. Пройдя пять миль до фермы Чалмерса, они увидели обширные фруктовые сады, которые вывели их к хмельникам, и местные сборщики им сказали, что бригадир «скоро покажется». Они прождали с краю плантации четыре часа, обсыхая на солнце и глядя на сборщиков за

работой. Картина была идиллической. Хмель, напоминавший непомерно разросшуюся фасоль, тянулся вдаль пушистыми зелеными рядами, с пышными гроздьями нежно-зеленых шишек, наподобие гигантского винограда. Когда дул ветер, от них исходил свежий, с горчинкой, запах прохладного пива. В каждом ряду загорелое семейство обрывало хмель и бросало в корзины, напевая при этом; а когда гудок объявил перерыв на обед, все разошлись кипятить чай над кострами из стеблей хмеля. Дороти им страх как завидовала. До чего счастливыми они казались, сидя вокруг костров, с кружками чая и ломтями хлеба с беконом, овеваемыми запахом хмеля с дымком! Она мечтала о такой работе, однако вскоре выяснилось, что им с Нобби здесь делать нечего. Примерно в час дня пришел бригадир и сказал, что у него нет для них работы, и они поплелись обратно, на дорогу, вознаградив себя за напрасное ожидание дюжиной ворованных яблок.

Когда они вернулись к условленному месту, Фло с Чарли там не оказалось. Они, разумеется, поискали их для приличия, хотя оба, разумеется, поняли, что случилось. Все было яснее ясного. Фло стрельнула глазками в водителя какой-нибудь попутки, и тот подхватил их с Чарли, рассчитывая потискать в дороге милашку. Но что было хуже, беглецы прихватили с собой оба вещмешка. Дороти с Нобби остались ни с чем – у них не было ни корки хлеба, ни картошки, ни щепотки чая, ни жестянки, чтобы сварить что-нибудь, и нечем было укрыться ночью – буквально ни с чем, кроме своей одежды.

Следующие полтора дня им пришлось нелегко – очень нелегко. Как же они мечтали о работе, голодные и измотанные! Но чем дальше они забредали в хмельные края, тем больше убеждались, что они никому не нужны. Обходя ферму за фермой, они слышали одно и то же: сборщики не требуются. Кроме того, поиски работы не оставляли им времени на попрошайничество, и им было нечего есть, кроме ворованных яблок и кислого терна, от которого у них сводило животы. Той ночью дождь не шел, но было гораздо холоднее. Дороти даже не пыталась заснуть, а просидела до рассвета у костра, подбрасывая хворост. Они с Нобби нашли укрытие в буковой роще, под раскидистым древним буком, защищавшим от ветра, но периодически обдававшим их росой. Нобби спал сном ребенка, растянувшись на спине, с открытым ртом, и неверное пламя костра бросало отсветы на его широкую щеку. А Дороти, изнывая от усталости, всю ночь изводила себя безответными вопросами. Такая ли жизнь была ей уготована – скитаться голодной с утра до вечера и мерзнуть по ночам под мокрыми деревьями? Не была ли другой ее прошлая жизнь? Откуда она пришла? Кто она? Ответов не было, и на рассвете их с Нобби снова ждала дорога. К вечеру они обошли в общей сложности одиннадцать ферм, и Дороти с трудом переставляла ноги.

Но поздним вечером, вопреки вероятности, им улыбнулась удача. Они забрели в деревню Клинтон, обратились на ферму под названием Кэрнс<sup>63</sup> и немедленно получили работу, без всяких вопросов. Бригадир смерил их взглядом и сказал: «Ну, порядок, сгодитесь. Начнете утром; корзина номер семь, бригада девятнадцать», даже не спросив их имен. Было похоже, что сбор хмеля не требовал ни доброго имени, ни опыта.

Они прошли на луг, где располагался лагерь сборщиков. Словно во сне от усталости и такой неожиданной радости, Дороти шла по лабиринту крытых жестью хижин и цыганских повозок с разноцветной стиркой, вывешенной в окнах. На заросших травой тропинках между хижинами возились дети, а рядом потертые жизнью взрослые с довольным видом готовили еду над бесчисленными кострами. С краю луга стояли несколько зачуханных жестяных хижин, для несемейных. Увидев Дороти, один старик, коптивший сыр над костром, указал ей в сторону женских хижин.

Дороти открыла дверь и в тусклом свете, проникавшем в заколоченные окна без стекол, увидела пространство футов двенадцати, сплошь заваленное соломой. Слипавшимся глазам

<sup>63</sup> Cairns (англ.) – «курган».

Дороти представшая картина показалась преддверием рая. Она шагнула в солому, но из-под ног у нее раздался женский вопль.

– Эй! Ты чё творишь? Слазь с меня! Тебе *кто* велел ходить по мне, дура?

Очевидно, Дороти была здесь не одна. Она стала шагать осторожней, споткнулась, рухнула в солому и тут же заснула. Но тут рядом вынырнула, словно русалка из соломенной пучины, растрепанная полураздетая женщина.

– ‘Дарова, подруга! – сказала она. – Умаялась небось?

– Да, устала – очень устала.

– Ну, ты окочуришься от холода в соломе без ничего. Нет одеяла?

– Нет.

– Ну-ка, погодь. У меня тут мешок.

Она нырнула назад в солому и достала мешок семи футов длиной. Ей пришлось растолкать опять успевшую заснуть Дороти, и та кое-как залезла в мешок, такой длинный, что она умещалась в нем с головой. Дороти ворочалась и все глубже погружалась в соломенные недра, такие теплые и сухие, что она и подумать не могла. Солома щекотала ей ноздри, забивалась в волосы и колола даже через мешок, но никакие покои – будь то ложе Клеопатры из лебяжьего пуха или плавучая кровать Харуна ар-Рашида – не могли быть ей милее.

### 3

Удивительно, до чего легко, едва получив работу сборщика хмеля, освоить ее. Всего через неделю ты становишься мастером и чувствуешь себя так, словно всю жизнь только и делал, что собирал хмель. Трудно придумать что-то более элементарное. Физически это, конечно, выматывает – приходится быть на ногах по десять-двенадцать часов в день, и к шести вечера тебя рубит сон – зато не нужно никаких особых навыков.

Примерно треть сборщиков в лагере знала о сборе хмеля не больше, чем Дороти. Некоторые приехали из Лондона без малейшего понятия, как выглядит хмель, не говоря о том, как и для чего его собирают. Передавали историю об одном типе, который, выйдя первый раз на сбор хмеля, спросил: «А где лопаты?» Он думал, что хмель нужно выкапывать, как картошку.

Все дни в «хмельном лагере», кроме воскресений, были похожи один на другой. Полшестого по стенам хижин стучали, и Дороти, зевая, выползала из соломы и нащупывала обувь, слыша сонную ругань других женщин, также выползавших из соломы, – всего их было шестеро, если не семеро, а то и все восьмеро. Любая одежда, снятая по глупости, пропадала в соломенной пучине безвозвратно. Взяв горсть соломы и сухого хмеля и набрав по пути хвороста, все разжигали костры и готовили себе завтрак. Дороти всегда готовила себе и Нобби и стучала в дверь его хижины, поскольку он с трудом вставал в такую рань. Те сентябрьские утра – пока небо на востоке медленно светлело, становясь из черного кобальтовым, а трава серебрилась росой – выдались на редкость холодными. Завтрак всегда был одинаковым: бекон, чай и хлеб, поджаренный на жире от бекона. За завтраком люди готовили второй точно такой же хлеб с беконом на ужин, после чего брали с собой и шли в поле – полторы мили по голубому, ветреному рассвету, то и дело вытирая текущий от холода нос мешком или подолом.

Хмельники делились на плантации площадью порядка акра, и каждая бригада – примерно сорок сборщиков под началом бригадира, часто цыгана – обрабатывала их одну за другой. Побег хмеля тянулись по веревкам на двенадцать футов и выше и свешивали гроздья с проволочных поперечин, образуя ряды шириной в один-два ярда; в каждом ряду стояла увесистая деревянная рама с холщовой корзиной, закрепленной наподобие гамака. Придя на место, сборщики раскладывали раму, срезали с веревок два ближайших побега – массивные, словно косы Рапунцель, конические гирлянды – и отрясали их от росы. Затем растягивали над корзиной и принимались обрывать тяжелые шишки хмеля, начиная с толстого края. Первое время

работалось неуклюже и медленно. Руки, вялые спросонья, немели от холодной росы, а влажные шишки выskalывали из пальцев. Самым трудным было срывать шишки, не срывая стебли с листвою; иначе мерщик мог отказаться принимать сбор, сочтя, что там многовато отходов.

Кроме того, стебли кололись мелкими колючками, и через два-три дня на пальцах не оставалось живого места. По утрам, когда пальцы, усеянные затянувшимися ранками, почти не гнулись, это было сплошным мучением; но постепенно ранки начинали снова кровоточить, и тогда боль притуплялась. При должной сноровке и хороших шишках один побег можно было оборвать за десять минут, пополнив корзину на полбушеля. Но хмель рос неравномерно на разных плантациях. Где-то шишки достигали размера грецких орехов и так плотно облепляли стебель, что можно было снять их все одним махом; а где-то они оставались заморышами, не крупнее горошин, и росли так редко, что приходилось возиться с каждой по отдельности. Если хмель попадался совсем никудышный, за час возни не набиралось и бушеля.

С утра, пока шишки хорошенько не обсохли, работа шла ни шатко ни валко. Но потом выглядывало солнце, прогретый хмель начинал источать горьковатый аромат, сборщики тоже разогревались, и работа спорилась. С восьми до полудня все только и знали, что рвать хмель как заведенные, все больше входя в азарт с каждым часом, стремясь поскорее дорвать побег и передвинуть корзину чуть дальше. Вначале на каждой плантации корзины стояли вровень, но затем отдельные сборщики вырывались вперед, и некоторые заканчивали свой ряд, пока остальные ковырялись ближе к середине; таким умельцам разрешалось перейти на соседний ряд и продолжить сбор в обратном направлении, навстречу тихоходам, – про таких говорили, что они «крадут твой хмель». Дороти с Нобби всегда плелись в хвосте, ведь их было всего двое на корзину, тогда как на большинстве корзин – четверо. К тому же Нобби, со своими загрубелыми ручищами, оказался неважным сборщиком; в целом женщины справлялись с этим лучше мужчин.

А по обе стороны от Дороти с Нобби две группы – на корзинах номер шесть и номер восемь – всегда шли нос в нос. На корзине номер шесть была семья цыган: кудрявый отец с серьгой, пожилая, похожая на мумию, мать и двое рослых сыновей; а на корзине номер восемь – старая торговка из Ист-Энда, в широкой шляпе и длинном черном платье, нюхавшая табак из табакерки с рисунком парохода, с выводком дочерей и внучек, поочередно наезжавших на пару дней из Лондона. Вообще в бригаде было немало детворы, ходившей по рядам с корзинками, подбирая упавшие шишки. У торговки была худенькая бледная внучка по имени Роза, то и дело убегавшая со смуглой цыганской девочкой, рвать тайком осеннюю малину, роняя шишки хмеля; и тогда пение сборщиков перекрывал пронзительный голос торговки: «А ну-ка, Роза, лентяйка мелкая! Подбери шишки! Смотри, надеру тебе задницу!» И т. д., и т. п.

Примерно половину сборщиков составляли цыгане – в лагере их было не меньше двухсот. Остальные называли их дидикаями<sup>64</sup>. Люди они были неплохие, довольно дружелюбные и при всякой надобности бесстыдно льстили белым; однако их отличало лукавство, особое дикарское лукавство. Своими грубыми восточными физиономиями, выражавшими непробиваемую тупость в сочетании с немыслимой хитростью, они походили на диких, но выродившихся животных. Разговоры их ограничивались полудюжиной замечаний, которые они талдычили дни напролет, ничуть от этого не утомляясь. Две молодые цыганки, стоявшие у шестой корзины, десяток раз за день обращались к Нобби и Дороти с одной и той же загадкой:

- Чего не может самый умный англичанин?
- Не знаю. Чего?
- Почесать комару жопку каланчой.

---

<sup>64</sup> Diddykies (англ.) – пренебрежительное обозначение деклассированных чужаков (вроде рус. «чурка»), происходит от цыг. dadika, уважительного обращения к старшим.

За этим каждый раз следовали взрывы смеха. Их невежество поражало воображение – они с гордостью заявляли, что никто из них не может прочесть ни единого слова. А старый отец семейства, решивший невесть с чего, что Дороти «ученая», всерьез спросил ее, дойдет ли он со своим фургоном до Нью-Йорка.

В полдень гудок с фермы оповещал сборщиков о часовом перерыве, а незадолго перед этим приходил мерщик, собирать хмель. Бригадир выкрикивал: «Мель готовь, номер девятнадцать!», и все спешили подобрать упавшие на землю шишки, дорвать валявшиеся там и сям побеги и выбрать листву из корзины. Здесь требовалась сноровка. Не годилось выбирать листву «дочиста», ведь она добавляла вес. Опытные сборщики, такие как цыгане, мастерски определяли допустимый «уровень загрязнения».

Подходил мерщик с плетеной корзиной, вмещавшей бушель, вместе с «книжником», заносившим объемы в амбарную книгу. «Книжниками» были молодые люди из клерков, присяжных бухгалтеров и им подобных, халтурившие в свободное время. Мерщик набирал хмель бушель за бушелем, произнося нараспев: «Один! Два! Три! Четыре!», а сборщики записывали цифры в свои учетные книги. Каждый собранный бушель приносил им два пенса, и всякий раз возникали перебранки из-за пристрастного подсчета. Шишки хмеля упругие – можно при желании запихать их целый бушель в квартовую<sup>65</sup> емкость; так что сборщики, набрав корзину, встряхивали ее, чтобы шишки чуть раздались, а мерщик всякий раз приподнимал ее за край и снова уплотнял их. Иногда мерщикам велели «поприжать» хмель, и они набивали в свою корзину пару бушелей, под злобные восклицания: «Ишь, как трамбуется, гад! Ты бы, млять, еще ногами утоптал» и т. п.; а опытные сборщики прибавляли ехидно, что помнят, как таких мерщиков напоследок окунали в коровий пруд. Из корзин хмель ссыпали в семифутовые мешки, теоретически вмещающие сотню фунтов<sup>66</sup>, но, когда мерщик «прижимал» хмель, требовалась пара человек, чтобы поднять такой мешок. На обед давали час, и сборщики разводили костры из стеблей хмеля (что запрещалось, но всеми нарушалось), кипятили чай и жевали хлеб с беконом. После обеда сборщики продолжали работу до пяти-шести вечера, когда снова приходил мерщик и забирал новую партию хмеля, и тогда все могли возвращаться в лагерь.

Оглядываясь впоследствии на эту «хмельную» авантюру, Дороти охотней всего вспоминала послеполуденные часы. Долгие трудовые часы на ярком солнце, под пение сорока голосов, в запахе хмеля и дыма от костров – все это оставило у нее неизгладимые впечатления. Ближе к вечеру от усталости подкашивались ноги, в волосы и уши набивалась тля, а исколотые в кровь руки чернели от едкого сока – и все равно ее охватывало счастье, беспричинное счастье человека, целиком и полностью отдающегося работе. Пусть то была монотонная, механическая, утомительная работа, изо дня в день ранившая руки, но она ей не надоедала; когда погода была ясной, а шишки – крупными, Дороти казалось, что она могла бы заниматься этим вечно. Обрывая час за часом увесистые гроздья и глядя, как высится в корзине нежно-зеленая горка хмеля (каждый бушель обещал ей еще два пенса), она ликовала и чувствовала, как по телу разливается приятное тепло. Солнце жгло ей кожу, а ноздри щекотал бодрящий, горьковатый, никогда не приедавшийся запах, навевавший мысли об океане прохладного пива. В ясную погоду все пели за работой, и плантации превращались в народный хор. Почему-то все песни той осенью были печальными – об отвергнутой любви и напрасной верности, – этикие трущобные варианты «Кармен» и «Манон Леско». Вот, к примеру:

Вон они-и идут вдвое-ом,  
Она души-и не чаёт в не-ом.  
Только я, одинокий, горюю-у!

<sup>65</sup> Кварта = 1,14 л.

<sup>66</sup> 100 фунтов = 45 кг.



А еще:

Я танцую, но слезы в глаза-ах,  
Ведь не ты у меня в рука-ах!

И:

Колокола звонят для Салли,  
Но не для Салли и меня-а!

Одна цыганская девочка пела снова и снова:

В заботах проходят года-а  
На на-ашей ферме, ну да-а!

И хотя все ей говорили, что это «Ферма “Нужда”», она никого не слушала.  
А старая торговка с внучкой Розой пели:

Хмель паршивый, распаршивый,  
Вон уж мерщик к нам иде-от.  
Подбирай скорей все шишки,  
Будет добрый нам расче-от.  
Соберем корзину с верхом,  
Подавись ты, жадный че-орт!

Больше прочих сборщики любили «Вон они идут вдвоем» и «Колокола звонят для Салли». Эти песни никогда не теряли для них своей прелести – они пропели их за сезон не одну сотню раз. Эти напевы, разносившиеся по рядам пушистого хмеля, составляли неотъемлемую часть атмосферы хмельника, наравне с горьковатым ароматом и слепящим солнцем.

Возвращаясь в лагерь, ближе к семи вечера, Дороти садилась у ручья, протекавшего вдоль хижин, и споласкивала лицо, нередко впервые за день. Чтобы отмыть въевшуюся черную грязь, требовалось минут двадцать. Ни вода, ни даже мыло на нее не действовали; она боялась только двух вещей – ила и, как ни странно, сока хмеля. Затем Дороти готовила ужин, обычно состоявший из тех же хлеба с беконом и чая, если Нобби не успевал сходить в деревню и достать пару кусков мяса по пенни. Провизию всегда покупал Нобби. Он знал, как за два пенни купить четыре куска мяса, по пенни каждый, и был мастером по части хозяйственной экономии. К примеру, всем буханкам он предпочитал деревенский каравай, разламывавшийся как бы на две буханки.

Дожевывая ужин, Дороти проваливалась в сон, но большие костры, разжигаемые между хижинами, были до того притягательны, что она продолжала сидеть и смотреть на огонь. Разreshалось брать по две охапки хвороста в день на хижину, но сборщики брали, сколько считали нужным, добавляя к хворосту разлапистые корни вязов, курившиеся до утра. Бывало, костры получались до того большущими, что вокруг них свободно усаживалось до двадцати человек – они до поздней ночи распевали песни, рассказывали истории и пекли ворованные яблоки. Ребята с девушками уходили темными тропинками, лихие души, вроде Нобби, брали свои вещмешки и шли по садам, воровать яблоки, а дети играли в прятки и гонялись в полутьме за козодоями, крутившимися возле лагеря, принимая их за фазанов. Воскресными вечерами человек пятьдесят-шестьдесят из сборщиков напивались и шатались по деревне, горланя

похабные песни, к неудовольствию местных жителей, смотревших на эти сезонные безобразия, как могли смотреть порядочные провинциалы римской Галлии на ежегодные нашествия готов.

Когда же Дороти наконец добиралась до своей хижины, прохладная солома не слишком ее радовала. После первой, блаженной ночи Дороти обнаружила, что спать на соломе – колючей и пропускавшей отовсюду сквозняки – не так уж приятно. Однако с полей можно было тащить сколько угодно мешков для хмеля, и Дороти устраивала себе гнездышко, складывая один поверх другого четыре мешка, достаточно теплое, чтобы проспать хотя бы пять часов.

#### 4

Что же касалось заработка, его хватало лишь на то, чтобы не протянуть с голоду ноги – не более.

Расценки на ферме Кэрнс составляли два пенса за бушель, и, если хмель бывал хорош, опытный сборщик мог рассчитывать на три бушеля в час. Таким образом, в теории, за шестидесятичасовую неделю было возможно заработать тридцать шиллингов. Но на деле никто в лагере даже близко не подходил к этой цифре. Лучшие сборщики зарабатывали за неделю тринадцать-четырнадцать шиллингов, а худшие – едва ли шесть. Нобби и Дороти, складывая свой хмель и разделяя доход поровну, сделали за неделю около двадцати шиллингов на двоих.

Тому имелось несколько причин. Начать с того, что хмель на некоторых полях был неважного качества. Опять же, каждый день случались проволочки, отнимавшие час-другой работы. Закончив одну плантацию, приходилось перетаскивать рамы с корзинами на другую, иногда отстоявшую на милю; а там иной раз оказывалось, что вышла ошибка, и всей бригаде (включая тех, кто тащил рамы весом в центнер<sup>67</sup>) приходилось еще полчаса ковылять до нужного места. Но хуже всего был дождь. Сентябрь в том году выдался скверный, дождь шел каждый третий день. Бывало, что все утро или с полудня до вечера приходилось сидеть под кустистым хмелем, накинув на плечи промокавший мешок и дрожа от холода. Собирать под дождем было невозможно. Шишки делались слишком скользкими, и срывать их было себе в убыток – мокрые, они скукоживались в корзине. Иногда за весь день в поле не удавалось заработать и шиллинга.

Но почти никто из сборщиков не жаловался, поскольку почти половину из них составляли цыгане, привыкшие жить впроголодь, а большая часть остальных являла собой респектабельных лондонцев, уличных торговцев, лавочников и т. п., приезжавших собирать хмель в выходные, и они были довольны, если им хватало заработанного на дорогу в обе стороны и оставалось еще немножко, чтобы гульнуть воскресным вечером. Фермеры это знали и извлекали свою выгоду. В самом деле, если бы сбор хмеля перестал считаться приятным занятием, почти никто не стал бы им заниматься, ведь расценки настолько малы, что никакой фермер не смог бы обеспечить сборщикам прожиточный минимум.

Дважды в неделю можно было «обналичить» половину своих заработков. Но тем, кто уходил до окончания сезона (фермерам это было невыгодно), могли выплатить по пенни за бушель вместо заявленных двух, то есть прикарманить половину обещанного заработка. Кроме того, ближе к концу сезона, когда всем сборщикам полагались круглые суммы, которыми они не хотели рисковать, сплошь и рядом бывало, что фермеры урезали расценки с двух пенсов за бушель до полутора. Забастовки были практически исключены. Профсоюза сборщиков не существовало, а бригадиры получали не по два пенса за бушель, как остальные, а еженедельный оклад, который автоматически удерживался в случае забастовки; поэтому бригадиры были готовы лечь костями, лишь бы предотвратить такое. В целом фермеры держали сборщиков в ежовых рукавицах; но винить следовало не фермеров – проблема коренилась в нищенской оплате труда сборщиков. К тому же, как Дороти отметила впоследствии, очень немногие сбор-

---

<sup>67</sup> (англ.) центнер = 112 фунтов = 50,8 кг.

щики обладали более-менее четким представлением о величине своего заработка. Система сдельной оплаты скрывала низкие расценки.

Первые несколько дней, до того, как они смогли «обналичиться», Дороти с Нобби еле ползали от голода, и вряд ли бы выжили, если бы другие сборщики их не подкармливали. Но все были невероятно добры. В одной из больших, семейных хижин жила компания из двух семей: продавца цветов Джима Берроуза и его друга, Джима Тарла, дезинсектора в большом лондонском ресторане, чьи жены были сестрами; и эти люди прониклись теплыми чувствами к Дороти. Они следили, чтобы им с Нобби не приходилось голодать. Каждый вечер первые несколько дней к Дороти подходила Мэй Тарл, пятнадцати лет, с полной кастрюлей рагу и предлагала угоститься в самой непринужденной манере, отменявшей всякие подозрения о милостыне. Предложение всегда оформлялось следующим образом:

– Прошу, Эллен, мама говорит, она уже хотела выбросить это рагу, а потом подумала, может, ты не откажешься. Говорит, оно ей ни к чему, так что ты сделаешь ей одолжение, если возьмешь его.

Просто поразительно, какую уйму всякого добра Тарлы с Берроузами «уже хотели выбросить» в течение тех дней. Один раз они даже отдали Нобби с Дороти половину тушеной свиной головы; а помимо еды, несколько кастрюль и оловянную тарелку, на которой можно было жарить, как на сковородке. И, что особенно радовало, они не задавали неудобных вопросов. Они не сомневались, что в жизни Дороти кроется некая тайна («Видно же, – говорили они, – Эллен не просто так *сошла в народ*»), но из деликатности решили не смущать ее своим любопытством. Она прожила в лагере больше двух недель, прежде чем ей пришлось выдумать себе фамилию.

Как только Дороти с Нобби смогли «обналичиться», их денежные невзгоды остались позади. Им вполне хватало полутора шиллингов в день на двоих. Четыре пенса уходили на табак для Нобби, четыре с половиной – на буханку хлеба; и еще порядка семи пенсов в день на чай, сахар, молоко (на ферме можно было купить полпинты за полпенни), а также маргарин и нарезку бекона. Но, конечно, всякий день тратились еще пенни-другой на какую-нибудь ерунду. Большинство сборщиков вечно голодали, вечно подсчитывали фартинги<sup>68</sup>, чтобы понять, могут ли они себе позволить воблу или пончик, или жареной картошки за пенни, и, при всей скудости их заработков, возникало впечатление, что половина населения Кента сговорилась выудить деньги из их карманов. Местные лавочники выручали за хмельной сезон больше, чем за весь остальной год, что не мешало им смотреть на сборщиков как на грязь под ногами. День за днем к хмельникам тянулись люди с ферм, продавать яблоки и груши по пенни за семь штук, и лондонские лоточники с пончиками, фруктовым мороженым и леденцами по полпенни. А по вечерам лагерь наводняли торгаши из Лондона с фургонами небывало дешевой бакалеи, рыбы с жареной картошкой, заливных угрей, креветок, заветренных пирожных и худосочной позапрошлогодней крольчатины из ледников, продававшейся по девять пенсов за тушку.

Строго говоря, питались сборщики из рук вон плохо, да иначе и быть не могло, ведь даже если у кого и были деньги, времени на готовку, кроме как по воскресеньям, не оставалось. Вероятно, только благодаря изобилию ворованных яблок в лагере не вспыхивала эпидемия цинги. Яблоки воровали едва ли не все, а кто не воровал, все равно выменивал их. Кроме того, по выходным фруктовые сады подвергались набегам ребят (поговаривали, что их нанимали лондонские торговцы фруктами), прикатывавших из Лондона на велосипедах. Что же касалось Нобби, он возвел это дело в науку. В течение недели он собрал шайку юнцов, смотревших на него как на героя, ведь он когда-то был настоящим взломщиком и четырежды сидел в тюрьме, и каждую ночь они шли на промысел с вещмешками и приносили – страшно сказать – по два

---

<sup>68</sup> Фартинг = ¼ пенни; самая мелкая английская монета.

центнера фруктов. Вблизи хмельников располагались обширные сады, и яблоки там – особенно мелкие, не годившиеся на продажу – лежали и гнили кучами. По словам Нобби, грех было не взять их. Пару раз он со своей шайкой даже украл курицу. Как им удавалось проворачивать такое, никого не разбудив, оставалось загадкой; по всей вероятности, Нобби знал, как накинуть мешок на курицу, чтобы та могла «без муки узкользя из бытия»<sup>69</sup>, во всяком случае без шума.

Так прошла неделя, за ней – другая, а Дороти все никак не могла понять, кто же она такая. Да что там, она была далека от решения этой задачи как никогда – лишь урывками она вспоминала о ней. Все больше она свыкалась со своей участью и все меньше задумывалась о прошлом и будущем. Ее текущая жизнь не оставляла ей выбора – не давала сознанию прости-раться дальше настоящего момента. Невозможно заниматься своими туманными внутренними проблемами, когда постоянно хочется спать и нужно что-нибудь делать – даже в свободное от работы время приходилось либо готовить, либо идти за чем-нибудь в деревню, либо разжигать костер из влажных веток, либо носить воду. (В лагере имелась только одна водоразборная колонка, в двух сотнях ярдов от хижины Дороти, и на таком же расстоянии кошмарное отхожее место.) Такая жизнь изнашивала, выжимала все соки, но взамен дарила всеохватное, безоговорочное счастье. Не жизнь, а мечта идиота. Долгие дни в поле, грубая пища и постоянный недосып, запах хмеля и древесного дыма создавали своеобразный животный рай. Не одна лишь кожа дубела от непрерывного воздействия стихий, но и сама личность человека.

По воскресеньям, конечно, в поле не работали; но воскресное утро проходило в делах: в первый раз за неделю люди готовили приличную еду и занимались стиркой и штопкой. По всему лагерю, под колокольный звон из ближайшей церкви и нестройный напев «О, Господь, помощник наш» – службы для сборщиков, которые почти никто не посещал, проводили различные христианские миссии – взвивались большие костры из хвороста, и кипела вода в ведрах, жестяных банках, кастрюлях и прочих емкостях, за неимением лучшего, а на всех хижинах полоскалась по ветру стирка. Дождавшись воскресенья, Дороти попросила у Тарлов таз и первым делом вымыла голову, а потом постирала свое белье и рубашку Нобби. Ее белье имело жуткий вид. Она не знала, как давно не снимала его, но, судя по всему, дней десять. Чулки на ступнях расползлись, а туфли держались только из-за ссохшейся грязи.

Развесив стирку, Дороти приготовила обед, и они с Нобби вдоволь наелись половиной тушеной курицы (ворованной), вареной картошкой (ворованной) и печеными яблоками (ворованными) с чаем из настоящих чашек с ручками, позаимствованных у миссис Берроуз. Пообедав, Дороти почти до вечера просидела, привалившись к солнечной стене хижины, с охапкой сухого хмеля на коленях, чтобы ветер не трепал юбку, когда она проваливалась в сон. Так же проводили свободное время две трети людей в лагере – просто дремали на солнце или тупо смотрели в пространство словно коровы. После шести дней работы на износ ни на что другое сил не оставалось.

Часа в три – Дороти в который раз клевала носом – мимо неспешно прошел Нобби, голый выше пояса (его рубашка сохла), с воскресной газетой, взятой у кого-то. Газета была «Еженедельник Пиппина», грязнейшая из всех воскресных газетенки. Нобби бросил ее на колени Дороти.

– Почитай-ка, детка, – сказал он с улыбкой.

Она взяла газету, но читать желания не было – так хотелось спать. В глаза бросался крикливый заголовок: «КИПЕНИЕ СТРАСТЕЙ В ДОМЕ СЕЛЬСКОГО РЕКТОРА». Ниже размещались еще несколько заголовков, жирные строчки и фотография девушки. Секунд пять Дороти в упор смотрела на темную, размытую, но вполне узнаваемую фотографию самой себя.

---

<sup>69</sup> Цитата из «Оды соловью» Джона Китса в переводе Г. Кружкова.

Под фотографией была колонка текста. К тому времени большинство газет уже перестали мусолить историю «дочери ректора», ведь прошло больше двух недель, и читателям эта новость приелась. Но «Пиппина» мало заботила свежесть новостей (лишь бы они были достаточно сальными), и поскольку та неделя оказалась небогатой на убийства и изнасилования, газета последний раз сделала ставку на «дочь ректора» – статья о ней размещалась на почетном месте в верхнем левом углу первой полосы.

Дороти безразлично смотрела на фотографию. Лицо девушки, темное и зернистое, ничего не пробуждало в ней. Она механически перечитала слова «КИПЕНИЕ СТРАСТЕЙ В ДОМЕ СЕЛЬСКОГО РЕКТОРА», не понимая их смысла и не испытывая к ним ни малейшего интереса. Она отметила, что совершенно неспособна читать; даже смотреть на фотографию требовало невероятных усилий. Она неумолимо проваливалась в сон. Ее слипавшиеся глаза скользнули по фотографии то ли лорда Сноудена, то ли какого-то типа, отказавшегося носить нагрыжник, и в следующий миг она провалилась в сон, с газетой на коленях.

Так у нагретой солнцем стенки из рифленого железа Дороти продремала до шести вечера, когда ее разбудил Нобби и сказал, что готов чай. Газету – позже она пойдет на растопку – Дороти, не глядя, смахнула с колен. Иными словами, она упустила возможность разгадать загадку своего прошлого. Эта загадка могла бы оставаться неразгаданной еще не один месяц, если бы не происшествие, случившееся неделю спустя, которое напугало ее и выбило из колеи привычного существования.

## 5

Ночью следующего воскресенья в лагерь нагрянули двое полисменов и арестовали Нобби и еще двоих за воровство.

Это случилось так внезапно, что Нобби не мог бы сбежать, даже если бы его предупредили, ведь вся округа кишела «специальными констеблями»<sup>70</sup>. В Кенте их пруд пруди. Они присягают каждую осень, образуя этакое гражданское ополчение для пресечения мародерства среди сезонников. Фермерам надоели набеги на их сады, и они решили проучить негодяев, чтобы другим неповадно было.

В лагере, разумеется, возник жуткий переполох. Дороти вышла из хижины, выяснить, что случилось, и увидела в отсветах костров круг людей, к которому сбегались остальные. Она побежала со всеми, дрожа от страха, словно уже зная, в чем дело. Протиснувшись сквозь толпу, она увидела то, чего боялась.

Здоровенный полисмен обхватил за плечи Нобби; второй полисмен держал за руки двух напуганных юнцов. Один из них, не старше шестнадцати лет, ревмя ревел. Неподалеку над уликами преступления, извлеченными из соломы в хижине Нобби, стоял мистер Кэрнс, подтянутый мужчина с седыми усами, и двое рабочих. Улика «А» представляла собой горку яблок; улика «Б» – испачканные кровью куриные перья. Нобби заметил Дороти в толпе, усмехнулся ей, показав крупные зубы, и подмигнул. Раздавались приглушенные голоса:

– Гляньте, как слезами заливается, сучоныш несчастный! Пустите его! Стыд и срам, такого мальчика хватать!

– Будет засранцу наука – устроил нам веселую ночку!

– Пустите его! Вечно, млять, докапываетесь до нас, сборщиков! Не можете, млять, яблока недосчитаться, чтобы на нас не подумать. Пустите его!

– Ты бы помалкивал тоже. Что, если б это были *твои*, млять, яблоки? Тогда бы ты, млять, *по-другому*...

И т. д., и т. п.

---

<sup>70</sup> Лица, назначаемые мировым судьей для выполнения специальных поручений в качестве констеблей.

А затем:

– Отойди, приятель! Вон евоная мать идет.

Сквозь толпу протиснулась здоровая бабища, с огромными грудями и длинными распущенными волосами, и начала крыть полисмена и мистера Кэрнса, а потом Нобби, который смайл ее сына на кривую дорожку. Рабочие насилу ее оттащили. За криками несчастной матери Дороти слышала, как мистер Кэрнс сердито допрашивал Нобби:

– А теперь, парень, давай колись, с кем делил яблоки! Мы намерены прекратить эту воровскую забаву раз и навсегда. Давай, колись, и даю слово, мы это примем во внимание.

Нобби ответил с обычной беспечностью:

– Засунь свое внимание поглубже!

– Не смей хамить мне, парень! Или огребешь по полной, когда предстанешь перед судом.

– Засунь свой суд поглубже! – усмехнулся Нобби.

Собственное остроумие очень его радовало. Он поймал взгляд Дороти и снова подмигнул ей. Затем его увели, и больше Дороти его не видела.

Гомон не прекращался, и за стражами порядка, уводящими преступников, увязались несколько десятков человек, ругая полисменов и мистера Кэрнса, но обошлось без рукоприкладства. Дороти незаметно скрылась; она даже не попыталась выяснить, сможет ли попроситься с Нобби, – она была слишком напугана и подавлена, чтобы убежать. Колени у нее ужасно дрожали. Вернувшись к хижине, она увидела других женщин, возбужденно обсуждавших арест Нобби. Она зарылась поглубже в солому, стараясь отгородиться от их голосов. Они не смолкали полночи и сокрушались за Дороти, считая ее, разумеется, «мамзелью» Нобби. То и дело они обращались к ней с вопросами, но она притворялась спящей и молчала. Хотя прекрасно понимала, что не заснет до рассвета.

Случившееся напугало ее и выбило из колеи, причем ее испуг выходил за разумные рамки. Лично ей арест Нобби ничем не грозил. Рабочие с фермы не знали, что она ела ворованные яблоки (уж если так, их ели почти все в лагере), а Нобби никогда бы не выдал ее. Да и за него она не очень волновалась – месяц в тюрьме для него ничего не значил. Дело было в том, что творилось у нее в голове – в ней назревала какая-то жуткая перемена.

У нее возникло ощущение, что она уже не та, какой была час назад. Все изменилось – как внутри нее, так и вовне. словно бы у нее в мозгу лопнул пузырь, исторгнув мысли, чувства и страхи, о существовании которых она давно забыла. Сонная апатия прошедших трех недель оставила ее. Она вдруг поняла, что жила все это время как во сне, ведь только во сне человек принимает все происходящее как должное. Грязь, лохмотья вместо одежды, бродяжничество, попрошайничество, воровство – все это казалось ей естественным. Даже потеря памяти казалась ей чем-то естественным; во всяком случае, до настоящего момента ее это не слишком волновало. Вопрос «кто я?»

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.